

Грозный

ПОРА

Наш
ПРОФ
работам
анабиоза,

ГАЗ, щиме

ним, положит начало по-
разительной эре в мире.
При помощи газа процес-
сора Морана можно вер-
нуть анабиозу и даже ко-
ЛЯГУШЕК и др.

но и высшие организмы,
даже человека. Но что ЕЩЕ
БОЛЕЕ ПОРАЗИТЕЛЬНО
находящееся в состоянии
анабиоза животное возвра-
щается к жизни само собою
без постороннего вмеша-
тельства в заранее опреде-
ленный, точно рассчитан-
ный срок, при чем срок
может быть взят для ана-
биостического состояния
какой угодно, в несколь-
ко часов и **НЕСКОЛЬКО**
СТОЛЕТИЙ.

507
91

1923—1923

Я. ОКУНЕВ

0-527

ГРЯДУЩИЙ МИР

УТОЛИЧЕСКИЙ РОМАН

Иллюстрации и обложка Николая Якимова

1923

72000
В.У.И.П.
ПРОБЕЖИ 1935 ГОДА
23276

ор.
0.527.9Г
А

Настоящее издание напечатано в Типографии
Первой Петроградской
Трудовой Артели Печатников (Моховая, 40), в
количестве 10.000 экземпляров. — Петроград. —
Петрооблит № 8267.

19844

1967-58 г.



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЕТА И ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЕТГИЗА

Для издательства «Прибой» —
исполнено издательством «Третья Стража».



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

аз профессора Морана.

- Алло!
- Алло! У телефона профессор?
- Да, я—Моран. Что угодно?
- Я—Викентьев.
- Викентьев? Не имею понятия... Впрочем... Ага! Это о вас говорил профессор Звягинцев?
- Я самый...
- Ну?
- Я согласен.
- Вы посвящены во все? Вы не боитесь? Твердо решили?
- Да, профессор.
- У вас нет ничего, что связывало бы вас? Ведь это на двести лет. У вас нет близких?
- У меня нет никого. Разрешите притти к вам.

— Хорошо. Сегодня между шестью и восемью. Не раньше и не позже. Адрес...

— Я знаю. Мне сказал профессор.

— Жду.

— До свиданья, профессор.

Отбой. В разных концах огромного города два человека почти одновременно положили телефонные трубки.

Викентьев — высокий и плоский, узкие плечи, лицо тусклое, серое, точно покрыто пылью, на впалых щеках пламенные пятна лихорадки, глаза горят беспокойным блеском.

Профессор Моран—жизнерадостный, звонкий катышек, словно залит ртутью; черные волосы на висках припудрены сединою, усы подстрижены по-английски и прохвачены изморозью, но черные агатовые глаза живы и молоды.

В кабинете профессора пахло сигарой, плыли и таяли опаловые кольца дыма. Но что это за странный, едва уловимый аромат? Эфир? Или, может быть, хлороформ? Тошноватый вязкий запах. Но в этом запахе примешан запах каких-то цветов, как будто ландышей, только сильнее, гуще. Он не неприятен, этот запах, немного пьянит и вызывает легкое головокружение.

У дверей в соседнюю комнату, задернутых серой суконной портьерой, этот запах сильнее, ощутимее. Это не только запах—это холод. Холод струится из-за портьеры, как будто там за дверьми ледник. И когда разговаривают у этих дверей, из-за них отдается глухой отголосок. Может быть, там пустой холодный огромный зал?

Три месяца тому назад в одной очень распространенной газете сделали шум. Под крупным заголовком было напечатано вот что:

ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ!

НАШ ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ

ПРОФЕССОР МОРАН

РАБОТАЮЩИЙ НАД ОПЫТАМИ АНАБИОЗА ¹⁾

ОТКРЫЛ ОСОБЫЙ ГАЗ

**КОТОРЫЙ, ПО ИМЕЮЩИМСЯ У НАС СВЕДЕНИЯМ,
ПОЛОЖИТ НАЧАЛО ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ ЭРЕ В НАУКЕ.**

¹⁾ Анабиоз—оживление животных, замороженных или засушенных на время.

ПРИ ПОМОЩИ ГАЗА ПРОФЕССОРА МОРАНА

**МОЖНО ПОДВЕРГНУТЬ АНАБИОЗУ НЕ ТОЛЬКО ЛЯГУШЕК
И РЫБ, НО И ВЫСШИЕ ОРГАНИЗМЫ, ДАЖЕ ЧЕЛОВЕКА.**

НО ЧТО ЕЩЕ БОЛЕЕ ПОРАЗИТЕЛЬНО

НАХОДЯЩЕЕСЯ В СОСТОЯНИИ АНАБИОЗА ЖИВОТНОЕ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЖИЗНИ САМО СОБОЮ

БЕЗ ПОСТОРОННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

В ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ, ТОЧНО РАССЧИТАННЫЙ СРОК

**ПРИ ЧЕМ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТ ДЛЯ АНАБИОСТИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КАКОЙ УГОДНО**

В НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ И НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ.

Профессор возмущен. Весь день телефонные звонки! Корреспондент такой-то газеты извиняется за беспокойство, но... Профессор бросает трубку. У подъезда — господин в котелке, с портфелем. Поклон, улыбка собаки, ждущей подачи. Господин не задержит профессора. Несколько слов... Открытие профессора очень интересует прессу. Не окажет ли профессор любезность?.. В интересах науки... Профессор вскакивает в пролетку первого попавшегося извозчика и называет вымышленный адрес.]

Потом — эти письма! Дождь писем! Разочарованная дама не видит никакого смысла в жизни среди современных условий и потому желала бы... Поэт страстно желает взглянуть в тайну грядущего, и если анабиоз не опасен для здоровья, то... Анархист, неспособный на компромиссы, не мирится с подавлением личности, а в царстве будущего... Делец предлагает выгодное дело на широких началах...

В корзину, в корзину все эти идиотские письма!.. Но их поток не прекращается, он растет, это какая-то бумажная Ниагара!..

Профессор убедительно просит редакцию напечатать опровержение. Заметка о газе является плодом недоразумения. Профессор Моран работает десять лет над вопросом об анабиозе, но пока дело дальше лабораторных опытов не пошло, преждевременно говорить о каком-либо значительном открытии.

Из редакции отвечает звонкий молодой тенор. Ах, это профессор Моран? Сам профессор? Тысячу извинений! С профессором говорит помощник редактора. Сию минуту подойдет редактор. Через минутку в телефоне гремит бас. Не разрешит ли профессор лично редактору — лично! — заехать к нему по поводу опровержения? Зачем? Редакция располагает авторитетнейшими данными в доказательство того, что заметка о газе не выдумка...

Трубка с грохотом падает на крючок аппарата. Профессор посылает редактора к черту.

Самое неудобное обстоятельство во всей этой истории, — что профессор знает, где зарыта собака. Если хочешь сохранить тайну, не следует делать докладов даже в таком кружке специалистов, даже под условием сохранения тайны.

После короткого разговора по телефону с редактором, профессор Моран выпалил наедине в своем кабинете весь свой наличный запас крепких выражений, выкурил одну за другой две сигары и решил, что дело, в сущности, не стоит выеденного яйца.



— Я — Викентьев.

— Отлично. Вы аккуратны. Садитесь в это кресло. Курите? Нет? Прекрасно!

У профессора зажжена кабинетная лампа. Она поворачивается вот так. Вся комната пропадает в темноте, свет золотит только один угол и выхватывает из этого угла лицо Викентьева.

Из темноты хорошо видно, что у Викентьева суровый рот. Тоненький алый шнурочек губ сбегает по краям вниз. Иногда он дрожит, этот шнурочек, дергается в легкой судороге, чуть-чуть размыкается и показывает ровный белый ряд зубов. Этот человек не умеет смеяться.

Профессор делает вывод:

— Отлично! Очень..

И потирает свои маленькие сухие ручки, точно умывая их.

— Вы хорошо взвесили?

Викентьев вздергивает узкими плечами и перебивает профессора:

— Я уже говорил вам об этом. Взвесил! Обдумал! Решил!

— Вы никому не говорили?

— Мне некому сказать. Я совсем одинок. Как в пустыне...

Алый шнурок крепко сомкнулся. Синие утомленные веки опустились и закрыли на минуту глаза.

— Очень хорошо, господин Викентьев. Но, может быть, вы хотите знать, насколько гарантирована ваша жизнь?

Профессор ошибся. Этот человек иногда смеется. Но какой смех! Оскал зубов. Несколько коротких, хныкающих звуков:

— Хмы-хмы! Через двести лет? Не все ли равно?

У стены стоит большой дубовый шкаф. Профессор возится у шкапа и подает Викентьеву сначала шубу, потом шапку с наушниками, потом противогазную маску:

— Наденьте это.

— Зачем?

— Мы пойдем в лабораторию. Я покажу вам опыт, чтобы вы убедились... то моя нравственная обязанность.

Профессор тоже напяливает на себя шубу и шапку, и становится еще круглее.

— Маски пока не надевайте, — говорит он. — Возьмите ее с собой.

За тяжелой портьерой—дверь, обитая войлоком и клеенкой. Там, за этой дверью, такой холод, что как только профессор открывает ее, седые облака пара врываются в кабинет.

Поворот выключателя. Вспыхивает люстра на потолке и льет мертвый, синий, как пламя спирта в темноте, свет.

Среди столов со стеклянными ящиками, среди огромных тонкогорлых бутылей и металлических цилиндров, среди путаницы ремней, соединяющих маленький динамо с нагнетательными приборами, среди банок, колб,

среди змеевидных, спиральных, дугообразных трубок — среди всего этого хаоса — тесно.

Горючие глаза Викентьева скользят с предмета на предмет и вдруг впиваются в огромную гробницу, занимающую чуть ли не половину лаборатории. Точно два факела горят теперь глаза Викентьева.

Боковые стенки гробницы из какого-то черного гладкого металла, а верхняя крыша — прозрачна. Гробница наполнена голубовато-молочной мутью.

На передней стенке серебряная дощечка. На ней выгравировано:

ЕВГЕНИЯ МОРАН.

20-ти лет.

20 апреля, 19 . . . г., в Москве, подвергнута анабиозу проф. Мораном.

Срок анабиотического состояния истекает 20 апреля 21 . . . г., через 200 лет.

Агатовые зрочки профессора потускнели. Глухо и надломленно прозвучал его голос:

— Моя дочка. Была безнадежно больна... Туберкулез... Через 200 лет она будет жить.

— Но эта болезнь! У меня тоже туберкулез. — Кончики тонких губ Викентьева скорбно опустились вниз.

— Анабиоз убивает бактерии.

Агат в глазах профессора опять заблестел. Голос окреп. Он подошел к гробнице.

— Видите, верхняя пленка гробницы сделана из очень тонкого прозрачного состава. Особое приготовление. Выдерживает колоссальное давление. Здесь двести таких пленок в гробнице герметически припаяны к ее стенкам. Между пленками полевые пространства разной емкости, но не более одного миллиметра в высоту, наполненные газом разной плотности. Чем ближе к крыше, тем емкость полостей больше, тем плотность газа меньше, тем пленки тоньше. Одно из свойств моего газа то, что упругость его растет через определенные, точно высчитанные промежутки времени. Чем плотнее газ, тем быстрее растет его упругость. Значит, в нижних полостях упругость газа растет скорее, а в верхних — медленнее. Итак, что произойдет через год после начала анабиоза? Через год упру-

гость газа и самой нижней полости будет такова, что под давлением газа снизу, первая пленка разлетится в мельчайшую пыль. Действие давления газа на вторую пленку рассчитано на 2 года, на третью — на три года и так далее. Значит: верхняя пленка лопнет ровно через 200 лет. Точка в точку! Высчитано! Проверено! Как часы! Ни минуты опоздания!

Глазки профессора метали огненные стрелы. Он бегал вокруг гробницы и размахивал, как крыльями, своими коротенькими ручками.

Викентьев разжал свои тонкие губы и чуть-чуть улыбнулся. В глазах его был вопрос.

— Ну? Ну? — спросил профессор. Для вас что-то не ясно?

— Да. Как же она живет?

— Вы слышали о жидкости Локка? Нет? Еще в 1895 году Лагендорфу удалось восстановить деятельность сердца, вырезанного из организма животного, путем пропускания в сосуды жидкости Локка. Руш усовершенствовал этот способ. Жидкость Локка состоит из солей и виноградного сахара, подходящих по составу к кровяной сыворотке. Она насыщается кислородом, подогревается до 37 — 39° и проникает по трубочке через аорту в венозные сосуды сердца; мышцы сердца, получив необходимую им пищу, начинают сокращаться. Сердце начинает биться и гнать кровь по венам и артериям.

— Но факты! Факты! — перебил профессора Викентьев, кривя свой тонко-алый шнурочек...

Сколько угодно, мой милый. В 1902 году русский физиолог, профессор Кулябко, вырезал сердце из кролика через 14 часов после его смерти. При помощи Локковской жидкости сердце было возвращено к жизни и проработало 3 часа. Его положили в лед. Через 46 часов его опять оживили. Тот же ученый вырезал сердце умершего от удушения трехмесячного ребенка и через двое суток оживил сердце. В 1905 году Герине и Денеке оживили сердце взрослого человека. Доктор Соловдов в Москве пошел дальше: он оживил кишечник трупа — кишечник переваривал пищу.

— Но пока мозг мертв, трудно добиться полного оживления, — возразил Викентьев.

— Правильно! Извольте! Куссмауль, Теннер, Мейер и Броун-Секкар добились оживления нервной системы. Вот сказочный невероятный опыт Броун-Секкара. Он отсек голову собаки, затем восстановил в отсеченной голове кровообращение. Голова ожила. Когда собаку назвали по имени, глаза ее — в отсеченной голове, повернулись в сторону зовущего. Профессор Андреев в Москве удушил собаку. Через 20 минут после ее смерти он начал вливание Локковской жидкости в ее артерию, ведущую к сердцу.

Началось сокращение сердца, потом биение пульса, потом дыхание и, наконец, животное ожило. Андреев проделал ряд таких опытов, и все они дали удачные результаты. Итак, пока организм не подвергался разложению его можно оживить ¹⁾.

— Еще один вопрос, — заметил Викентьев. — Из вашего объяснения видно, что для оживления необходима посторонняя помощь. Кто же через 200 лет оживит вашу дочь, меня?

— Слушайте внимательно! В углу гробницы находится металлический бидон, соединенный трубочкой с телом. В бидоне бутылка, наполненная усовершенствованной жидкостью Локка и насыщенная кислородом. Стенку бутылки облегчает особая ткань, абсолютно не пропускающая тепла и сохраняющая, таким образом, температуру жидкости, нагретой до 39 градусов. В трубочке — кран. В момент соприкосновения с внешним воздухом, сжатый воздух, находящийся в трубочке, открывает кран. Трубка соединена с сосудами сердца. Жидкость проникает в сердце. Оно начинает биться. Жизнь восстанавливается. Часовой механизм, находящийся у места соединения трубочки с телом, обрезывает ее и закупоривает ранку. Поняли? Э, да вы умеете улыбаться!

Да, Викентьев улыбался. Широкая возбужденная улыбка. Две алые розы горят на щеках.

— Профессор! Это похоже на чудо!

— Ну, вот еще! Сейчас я покажу вам настоящее чудо.

— Пожалуйте сюда, налево.

— Есть!

— Видите эту маленькую гробницу?

— Да! В ней как будто находится собака?

— Это мой песик Неро. Анабиоз на 5 лет. Сейчас мы прервем анабиоз.

Наденьте маску и не раскрывайте рта.

— Готово!

Профессор пускает в ход электрический вентилятор в стене над окном. Потом берет большой пудовый молот, и с размаху опускает его на крышку гробницы. Еще удар, еще. Глухой звук и крыша разлетается. Газ со свистом вырывается из гробницы. В голубовато-молочной мути тускнет свет люстры. Мороз колет острыми иглами лицо, щиплет руки, струится холодным потоком под шубу. Газ ревет, вырываясь через вентилятор на улицу. В ушах больно, давит на мозг сжатый воздух.

¹⁾ Все приведенные опыты оживления не представляют собой вымысла автора.

Профессор следит за монометром. Ртуть в монометре медленно спадает. Становится легче. Теплеет.

— Снимите маску.

Торопливыми движениями профессор снимает ткань с животного. Большой белый пудель лежит, вытянув передние лапы и уткнув в них морду. Резиновая трубка струит жидкость в сердце. Профессор прикладывает к сердцу собаки слуховую трубку и принакает к ней своим розовым ухом. Через пять минут его напряженное лицо светлеет. Он передает трубку Викентьеву.

— Послушайте-ка!

Едва уловимые толчки. Сердце бьется. Еще пять минут, и в слуховую трубку проникает шум пробуждающихся легких. Собака чуть-чуть открывает пасть. Между сжатыми зубами трещит розовый треугольник языка. Черная кожаца носа начинает лосниться от слизи. Размыкаются узкие щелки глаз, и они загораются, точно искры снега.

— Неро!

Глаза собаки раскрыты, мутные, затянутые опаловой пленкой.

— Неро! Неро!

Пленка тает. Зрачок дрожит, поворачивается к профессору. Слабое движение хвоста.

— Неро! Сюда!

Все туловище собаки трещит. Хриплый звук. Еще. Звук яснее.

— Р-р-р! Г-гав!

— Сюда! Сюда!

Собака с усилием встает на слабые, дрожащие лапы. Резиновая трубка отпадает. Собака поворачивает голову, высовывает красный лоскут языка и лижет ранку под пахом левой передней лапы.

— Сюда! Неро, сюда!—хлопает себя по колену профессор.

Она соскакивает на пол и, еще слабая, идет, шатаясь, за профессором.

II.

Профессор Моран усыпляет Викентьева.

Сегодня агатовые глаза профессора полны беспокойства. В кабинете все утонуло в сизом сигарном дыму. Профессор мечется. Топ-топ-топ,— дробно стучат его каблуки по паркету. Подбежал к телефону. В нетерпении стучит ладонью по вилке аппарата.

— Барышня! Наконец-то! 35-26. Благодарю.

Минуты две ожидания. Пуф-пуф—вылетают клубы дыма из сложенных красной трубочкой, губ профессора.

— Это я, Моран. Позовите Константина Петровича. Его жена? Константин Петрович ушел ко мне? Очень хорошо.

Викентьев сидит в кресле, вытянув свои длинные ноги. Сзади, в окно, бьет солнце и обводит его фигуру огненным шнурком. Он опустил свои голубоватые веки и свесил руку, сиюю, со вздувшейся жилой. Совсем мертвое лицо, бледное, с шафрановым оттенком на лбу и висках.

— Один ассистент уже вышел из дому. Второй пропал где-то.

Викентьев раскрывает веки, тускло смотрит на сюртук профессора. На сюртуке профессора дрожит золотая рябь—отблеск пылающего окна, и неожиданно спрашивает.

— Через двести лет... Будет ли тогда солнце таким же пылким?

Профессор рассеянно слушает его; он занят своей тревогой.

— Через двести лет, мой друг... Куда же делся этот неряха Малахов? Экая неаккуратность!.. Вы о чем-то спрашиваете, Викентьев?

— Пустое!

Профессор слышит звонок. Топ-топ-топ. — Он у двери. Звякает цепочка.

— Ну, и задам же я вам!.. Ага! И Малахов тут? Вот хорошо, друзья мои!

Малахов фундаментален; широкое лицо цвета сырой говядины в взбитой пене седины волос, усов, бороды—всюду волосы. Они торчат пучками из ноздрей и кустятся над бровями, они растут на руках и на шее. Нос у него туплей и испещрен синими жилками. Огромный нелепый галстук выскочил из запонки. Мягистые руки прут из манжет.

Ткнув желтым от табаку пальцем с темной каемкой на ногте в Викентьева, спросил:

— Вот это он самый?

— Викентьев. Профессор Малахов, — представляет их друг другу Моран.

Монумент мотает своей снежной головой:

— Ладно!

И, сопя, садится на кушетку, которая скрежещет под его тяжестью всеми своими пружинами.

Звягинцев, Константин Петрович,—как будто только что был в парикмахерской. Пахнет одеколоном; аккуратно выбритые щеки пухлы и розовы; белокурые волосы, зачесанные вверх, блестят. Новенький синий костюм, свежее-выутюженные брюки, слеза бриллианта в черном галстуке, лакированные ботинки с желтыми гетрами.

Он весь сверкает. Сияют пенсия, бриллиант, сверкают лакированные ногти. Улыбнулся, — желто блеснули коронки золотых зубов.

— Позвольте представиться—профессор Звягинцев.

Щелкнул каблуками, сломался пополам,дохнул на Викентьева мятыми лепешками, выпрямился.

Из лаборатории доносится мерное дыхание динамо, пущенного в ход. К нему примешивается свист четырех нагнетательных насосов, накачивающих выработанный газ в баллоны. Двести таких баллонов, точно артиллерийские снаряды, с газом стоят в кладовой, рядом с лабораторией. Уже приготовлен металлический ящик и двести пленок.

Тонкий алый шнуручек губ горяч и сух. Тревожно мечется сердце. Неожиданные мысли: будет ли через двести лет Москва, Россия? Отчего сегодня так жалко солнце? Завтра Викентьев не увидит его. Двести лет оно не будет существовать для него. Небытие на двести лет. Что такое небытие? Сон? Тьма? Нет, ни сон, ни тьма, а что-то такое вне человеческого представления.

Из-за портьеры высунулась голова профессора Морана.

— Готово. Идите в лабораторию.

Ноги словно из ваты. В голове назойливо звенит мотив какой-то песни.

Этот белый операционный стол и три профессора в белых халатах. Больничный запах карболки и эфира. У профессора строгий, ледяной вид.

— Разденьтесь, Викентьев.

Неслушающимися пальцами Викентьев неловко и медленно раздевается. Желтое худое тело в зябких пупырышках. Неприятно смотреть на свои ноги с изуродованными обувью пальцами.

— Лягте на стол. Так. Вытянитесь.

Изящный Звягинцев трудится над Викентьевым, вытирая его тело губкой со спиртом. Малахов, засучив рукава, варит на спиртовке стальной ланцет. Моран смотрит на Викентьева. Его агатовые глазки теплеют.

— Мы сейчас захлороформируем вас. Может быть, вы хотите что-нибудь сказать... передать?..

Викентьев с трудом раскрывает слипшиеся губы. Голос хрипл:

— Мне нечего передать. У меня никого нет.

Моран протягивает ему руку:

— Прощайте, милый мой!

Неожиданно наклоняется над ним, дышет запахом сигары и, укол его щетиной усов, целует в губы. Малахов у спиртовки грохочет.

— Экие нежности! Терпеть не могу!

На лицо Викентьева наложена маска. Вяжущий, сладкий, тошный запах. Далеко, словно из-под подушки, доносится голос:

— Считайте, Викентьев.

— Один, два, три...

Ярко-голубые пятна перед глазами. Тело наливается тяжестью и ленью, становится чужим. В ушах тонкий комариный звон; он становится ярче, звонче, шире, наполняет голову.

— Четыре... пять... шесть...

Язык шершавый, тяжелый. Во рту сладкая слюна. Стол плывет мягкими волнообразными толчками вверх, потом в сторону.

— Пятнадцать... девят-над-цать, — мелет непослушный язык, — двадцать семь...

В засыпающем мозгу слабой искрой затлеялся протест: «Зачем? Не нужно! Не хочу!» И потухло.

Малахов серьезен и хмур. Наклонившись над Викентьевым, он работает. Сверкает металл ланцета. Алая струйка пятнит белый стол. Малахов зажимает ранку.

— Прибор! — рокочет он.

Резиновая трубка прибора присосалась к ранке. Моран и Звягинцев торопливо обвертывают тело Викентьева в красный шелк, потом все трое несут его вместе с аппаратом к саркофагу и осторожно опускают на дно.

На передней стенке саркофага просверлено двести отверстий, одно по другому, с клапанами, открывающимися внутрь. На задней стенке—двести отверстий. Клапаны открываются наружу.

Моран и Звягинцев накладывают на выемки внутри саркофага первую пленку. Моран заливает какой-то черной, мгновенно твердеющей массой края первой крышки.

Первая полость готова. Моран привинчивает трубку нагнетательного насоса к крану на передней стенке саркофага. Газ со свистом врывается в полость. Через отверстие на противоположной стенке выпирает воздух. Фигура Викентьева тонет в молочно-голубой мути.

Готово! Кран отвинчен, оба отверстия на стенках запаяны. Накладывают вторую пластинку и повторяют ту же работу.

Четыре дня работают они над гробницей, как простые рабочие. Профессор Моран прикрепляет к стенке гробницы дощечку:

АЛЕКСЕЙ ВИКЕНТЬЕВ.

32 лет.

16 июня 19 . . . г. в Москве подвергнут анабиозу проф. Мораном.

Срок анабиотического состояния истекает 20 апреля 2 . . г., через 199 лет, 10 месяцев и 3 суток.

Дочь профессора, очнувшись в Мире Грядущего, ни одного дня не будет одинокой: у нее есть спутник в царство Грядущего Мира. Он очнется в один день и в один час со своей подругой, и оба одновременно предстанут пред новым человечеством, как посланцы старого мира.

III.

На дне океана.

Профессор не любит шума вокруг своего имени. Это мешает ему работать. А между тем, газетчики обладают изумительно тонким нюхом. Они знают обо всем, что делает профессор в тишине своей лаборатории. Они печатают статьи с крикливыми заголовками о его опытах. Где бы ни появился профессор, фотографы-корреспонденты тут как тут, и уже щелкают под самым его носом своими кодаками.

Особенно невыносимо стало в последнее время, после усыпления Викентьева. Непостижимо, непонятно, как это могло случиться! В ряде иллюстрированных журналов появились сенсационные снимки:

«Профессор Моран в своем кабинете с господином Викентьевым».

«Профессор Моран усыпляет г. Викентьева».

«Снимок с гробницы, в которой находится подвергнутый анабиозу Викентьев».

Одна большая влиятельная газета выразила свое возмущение. Опыты профессора Морана граничат с преступлением. Взять взрослого, здорового, полноправного члена общества и подвергнуть его анабиозу! Где гарантии, что эти опыты безопасны для жизни и здоровья? Зачем существует прокурорский надзор?

Прокурорский надзор? Он постучался в двери квартиры профессора в виде скромного посыльного с книгой. Распишитесь в получении посылки от следователя.

В 11 часов утра профессор должен был оторваться от своих занятий и прогуляться в камеру судебного следователя. Следователю угодно знать, известно-ли что-нибудь профессору об Алексее Федоровиче Викентьеве, а если известно, то чем он докажет, что над А. Ф. Викентьевым не учинено насилие?

Профессор вытаскивает из бокового кармана белый лист, сложенный вчетверо. Нотариус такой-то удостоверяет, что сего числа г. А. Ф. Викентьев собственноручно, в присутствии нотариуса, подписал настоящий документ.

Итак, насилия не было. Прокурорскому надзору нет никакого дела. Тысяча извинений! Вы свободны.

Скромный следователь сделал свое дело. Но газеты не успокаиваются. Телеграф выстукивает:

— Профессор Моран победил смерть! Величайшее открытие.

Радио разносится по всему миру. Изумительные вести ловят вышки радио-станций:

— Победа над небытием! Газ профессора Морана...

По подводным кабелям, по телеграфным, по телефонным проводам, — везде миллионы раз звучит:

— Профессор Моран...

— Газ профессора Морана...

Поэты поют в стихах:

«Кто хочет перескочить через столетия? Кто волен заглянуть в грядущее? Разве это не стало возможностью? Моран сделал человека властелином над вечностью».

И биржа... Какое дело бирже до анабиоза? Но русский профессор Моран открыл ценный газ бессмертия. Русские бумаги идут в Лондоне. Как котируется бессмертие на бирже?

Бессмертие? Позвольте! Разве его нельзя купить за деньги — за марки, за франки, за стерлинги, за доллары? Два миллиардера вызывают по радио профессора. Они желают заказать бессмертие. Сколько угодно франков, фунтов, долларов?

Бессмертие? Коронованные выродки создавали поделку бессмертия, путем бальзамирования своей миропомазанной мертвечины.

Министр двора испанского короля напал на великую идею. Он телеграфирует профессору. Его величество на смертном одре. Вся страна истекает слезами. Профессор утешит страну. Бессмертие его величеству —

звезду на грудь профессора. А если расширить эту идею до массового заготовления консервированного запаса королей для грядущих поколений?..

Профессор отвечает коротко, точно ударом кнута по коронованной физиономии:

— У меня не похоронное бюро и не консервная фабрика!

Его величеству! Магниатам мира! Какая дерзость!

Один из магнатов—нефтяной король. Его рыхлое большое тело, его свиные глазки цвета запыленной стали; его вспухшее лицо, синее, бугристое, изъеденное волчанкой; его оттопыренные, как ручки вазы, красные уши; его яйцевидный блестящий череп—все это, заключенное в пространство между башмаками и цилиндром, носит громкое, известное во всех пяти частях света имя—Эдвард Гаррингсон. Миллионы рабов, насквозь пропитанных нефтью и маслом, несут ему ежечасно, ежеминутно, ежесекундно тысячи долларов. Движением пухлого короткого пальца Эдвард Гаррингсон повергает в панику все биржи мира.

Другой магнат—король свиней. Да, да, у него одна четверть свиного населения мира! Своим существованием он оказывает честь человечеству и смотрит на мир с вышины своего саженого тела, с длинными, похожими на ножницы в брюках, ногами. Путешествуя по Египту, он купил гробницу фараона Аменофиса III. Он привез эту гробницу к себе в Чикаго. Он приказал из этой гробницы сделать для себя ванну. Свиной король принимает ванну в гробнице фараона Аменофиса III.

Разве эти великие люди не достойны бессмертия? Но профессор, очевидно, иного мнения. Он возмущен, черным агат в его глазах блыает. Он мечется по кабинету и дымит, дымит сигарой:

— Свины! Когда же они оставят меня в покое, чорт бы их всех взял!

Цивилизация имеет свою обратную сторону. Цивилизация светлива и криклива.

Идея! Канада! Именно, Канада! Лето природы в 48 часов езды от kloкочущего мирового центра, от Нью-Йорка. Ну да, ну да, надо уехать в Канаду на время!..

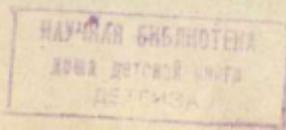
Упакованы гробницы, препараты, приборы и машины, наложена виза на паспорте. Профессор любезен, общителен, разговорчив. Сошнувшись свои агатовые глаза, он сообщает корреспондентам Москвы:

— Я еду в Филадельфию.

Телеграфисты выстукивают:

— Профессор Моран едет в Филадельфию для продолжения своих опытов.

В Гамбурге профессор горячо жмет руку корреспонденту:



— Уверю вас, что это была газетная утка. Я еду в Чикаго. Необходимо личное присутствие при изготовлении нового прибора для моих опытов.

Радио-станции перекликаются:

— Профессор Моран едет в Чикаго...

— ...едет в Чикаго...

— ...в Чикаго...

— ...новый прибор...

— ...профессор Моран...

— ...в Чикаго...

В Лондоне профессор удачно меняет свой паспорт, удачно спасается от корреспондентов, удачно садится на пароход, отправляющийся в Канаду, и едет в Квебек.

А радио продолжает свою переключку:

— ...В Чикаго...

— ...едет в Чикаго...

— ...Профессор... в Чикаго...

Маленькое аспидно-серое облачко, похожее на грибок, выросло над призрачной зеленой гранью между океаном и небом. Сушие пустыки! Небо—васильковое. Океан—в золотых спиралах. Солнце кроет янтарным лаком палубу четырех-этажного «Атланта», зажигает огни на стеклах кают. Ультрамарин, изумруд, золото.

На палубе: равнодушные квадратные лица англичан, итальянские черные миндалевидные глаза; белокурые усы немца, законченные сигарой; узенькие щелочки, а в них юркие черные жучки—зрачки японца; ленивый серый взгляд славянина; резко сломанный хищный нос грека. Над палубой гул; смешались каркающие, лающие, свистящие, звенящие, чмокающие звуки. Точно ожерелье катится со ступеньки на ступеньку—звонит молодой женский смех.

И везде золото—иглы золота в волосах, нити золота в лохмотьях, золотые слезы в глазах, золото рассыпалось червонцами по палубе.

Аспидно-серое облачко поднялось выше.

Зал первого класса. Тонкий звон стакана, лязг ножей и вилок, позвякивание ложек и чавканье, чавканье... Запах мяса, сигар, вина.

Бритый сизый американец в смокинге положил ноги с огромными квадратными подошвами на столик, опрокинулся назад в кресло, утонул в туче синего дыма. Томно закрыв глаза, он предаётся пищеварению.

Немец, рябой, как рябчик, от штанов с манжетами внизу до пиджака включительно, шуршит газетой, помулежа на кушетке и задумчиво звенит:

— Три-ди-дам... Дри-ди-ри...

...Аспидно-серое облачко, похожее на гриб, раздуло свою шапку.

Солнце—медь. Красная медь. Медный таз опустился в ультрамарины и расплавил его. Далеко, на грани налившегося кровью неба, вспыхнул расплавленный металл.

Небо налилось густой синевой и засеялось огненной россыпью звезд. Расплавленный металл погас, остыл, потемнел.

В зале I класса тонко поет скрипка. Звонкими капельками вторит пианино. Скрипка поет выше-выше, звук реет над золотым маком, рассыпанным по темно-синему дну опрокинутой чаши неба, замирает где-то страшно высоко. Сухо трещат аплодисменты.

В зале I класса—концерт. А на палубе, всех наций, везущих за океан свои руки, гремит духовой оркестр.

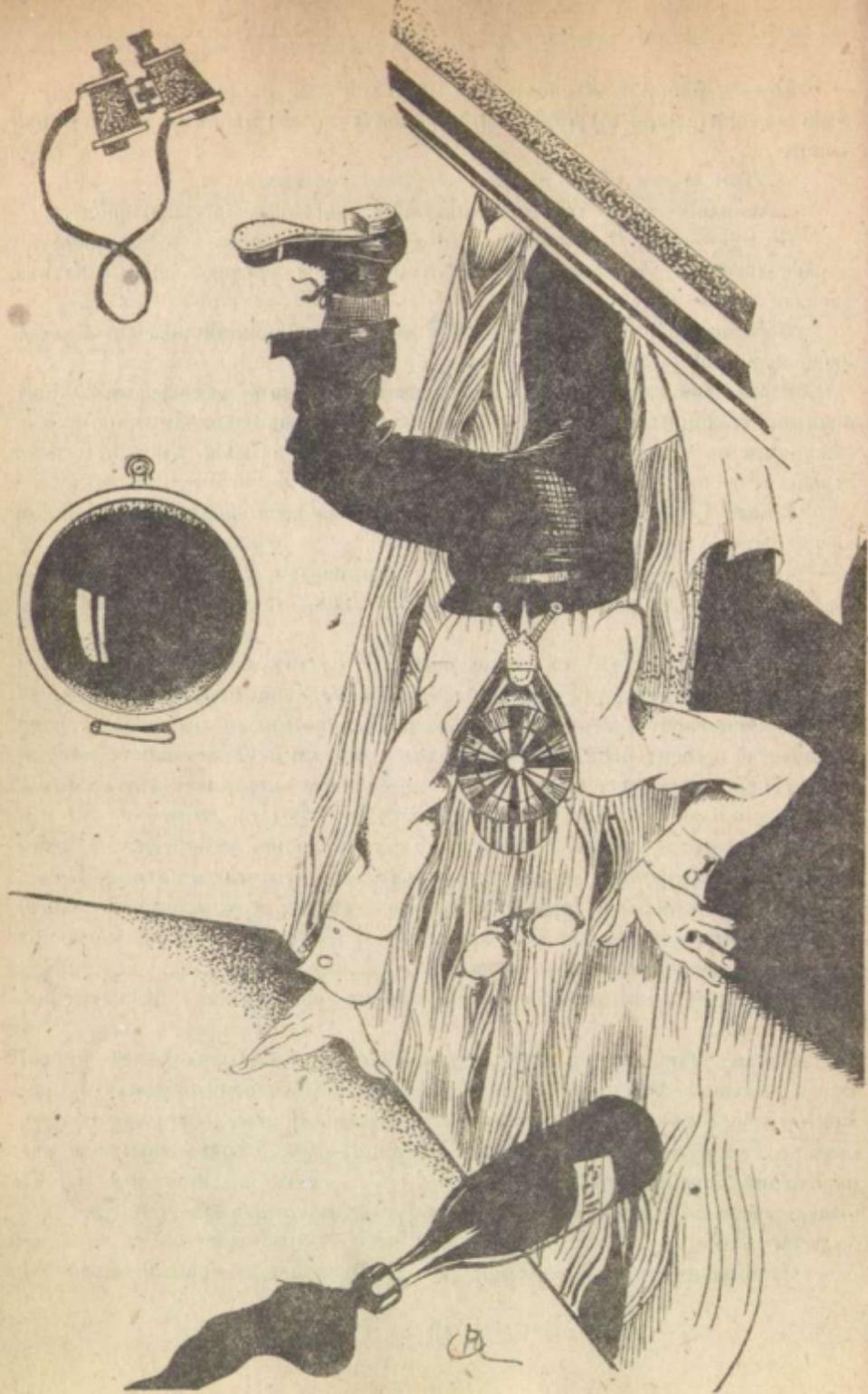
«Атлант» режет темно-зеленую грудь океана, взбивает винтами седые вихри на зеленых буграх и несется, сияя четырьмя ярусами желтых глаз.

Профессор перегнулся через перила и глядит на убегающие пряди волн. Он давно стоит так и давно следит за меняющимися красками моря и неба. Они гаснут, меркнут эти краски; черное крыло расправляется по шире неба и гасит огоньки звезд. Пол под ногами начинает плыть вперед-назад, вперед-назад. Океан вздрагивает, где-то там внизу, шевелится, встряхивается и плюет на палубу соленой пеной. И вот он заговорил многоголосым рокотом, громко и гневно... Темнота липнет к бортам, наливает палубу, дуговой фонарь тускло расплылся желтым, мутным пятном. И еще чернее становится, все пропало в тумане—палуба, трубы, борта: только кусочек места, кусочек перил, сжатый руками Морана, и клочек пола под его ногами мчатся в черную ночь.

Был маленький аспидно-серый грибок облачка на краю океана. Только всего...

Почему оборвался оркестр, не закончив вальса? Отчего ревет сирена? Океан задыхался ледяным холодом. Наверху, над головой, вспыхнул прожектор и проткнул белым мечом стену тумана. Побежал направо, налево, пошарил у бортов и выхватил кусок черной водяной горы, нависшей над пароходом. Пароход взобрался на эту гору, повис над провалом и стал быстро скользить вниз со стоном, со скрежетом, с лязгом, точно лопался по всем швам.

Профессора окатило соленой водой. Цепляясь за перила, он поплыл



к сходням в каюты первого класса. Опять на палубу опрокинулась гора воды, отбросила профессора от перил и ударила о какой-то твердый выступ.

Большой желтый прямоугольник ползет вверх, скользит вниз. Ах, да, это вход в каюты, освещенный электричеством! Нет никакой возможности стать на ноги, на ступеньку. Профессор сползает на спине по ступеням вниз, ползком пробирается к двери своей каюты, с трудом забравшись в нее, лезет в висячую койку. Теперь легче.

А что если?.. Профессор порывисто садится и ударяется головой о потолок. Чорт возьми, он не чувствует боли. Что если?.. Ведь, это не входило в его расчеты. Он вычислил все: плотность и упругость газа, сопротивляемость и толщину пластинок, температуру локковской жидкости и теплоемкость ткани. Но он не включил в свои формулы стихию. Да, стихию!

Если пароход пойдет ко дну... Какой-то глупый шторм сильнее всех выкладок профессора и опрокидывает все его расчеты. Гробницы потонут, и никакого грядущего мира не будет для Евгении и Викентьева, доверившихся профессору Морану. Итак, имел ли право профессор Моран подвергать риску чужую жизнь?

Господин капитан — огромная пылящая гора, увенчанная морской фуражкой, смотрит сверху вниз на маленького профессора Морана. Впрочем, он, кажется, даже не видит профессора, как не видит великан муравья. Пол под их ногами принимает рискованное, наклонное положение, и в то время, как профессор нежно обнимает обеими руками спинку стула в капитанской каюте и болтает в воздухе ногами, капитан прочно стоит на своем месте и с презрением щурит вспухшие веки.

Что такое «Атлант» и эта пустычная зыбь? Господин путешествовал, должно быть, по океану лет десять тому назад, или совсем не путешествовал. Совсем нет? Это видно.

Господин капитан внушительно помахивает огромным пальцем пред красным холмиком, изображающим его нос.

Господин должен иметь в виду, что пароходство «Овертон и Сын» — это не кот наплакал. Что? Да, это так говорится: «не кот наплакал». Или, если угодно, «не баран начхал». Полмиллиарда долларов основного капитала! Пятнадцать пассажирских пароходов! Тоннаж! Быстроходность! Полнейшая гарантия! Господин может спокойно спать.

Что? Что? Сирена? Она ревет потому, что туман. Шторм — детская

забава. Но туман! Это вам не кот заплакал, или, если угодно, не баран начал! Впрочем, пароход «Атлант» застрахован на солидную сумму. О, эта фирма «Овертон и Сын!» Капитан желает господину спокойной ночи.

Профессор уходит. Нет, не уходит, а уползает из каюты капитана. Он подавлен величием капитана, величием фирмы «Овертон и Сын», величием «Атланта». О, это вам не кот... не баран... Кто из них начал или заплакал?

В своей койке профессор вспоминает совет капитана о спокойном сне и закрывает глаза. В дремоте он чувствует под судном океан. Но ведь кот или баран, или оба вместе начали или заплакали, и, сверх того, пароход «Атлант» застрахован...

Тр-р-рах! Дз-зень! Точно выстрелили из орудия. Профессор летит с койки на пол, если можно назвать полом поверхность, наклоненную под углом в 60 градусов. С этой поверхности, условно называемой полом, он скользит куда-то вниз... Но низ через секунду превращается в верх, профессор едет в обратном направлении, головой вперед, и, ударившись о двери, выезжает на своем собственном животе в корридор.

Грохот ног. Хлопают десятки дверей. Внизу что-то с громом перекатывается. Звенит стекло. По воздуху хлещет яркий женский вскрик.

Пароход напряженно дышит, фыркает винтами и дрожит. Густо и без перерыва ревет сирена.

Вода? Бобрик на полу пропитывается водой! Она поднимается снизу. Но ведь, там, внизу тоже каюты. Там люди! Там женщины. Дети... А еще ниже трюм, и в трюме... Не может быть!

Господин капитан прыгает через три ступеньки из своей каюты. Мимо профессора проносится гора тела; белый, очень белый овал, на нем огромные глаза, страшные глаза.

— Чорт возьми! — грохочет капитан. — Откуда здесь ледяная гора?

Волосы обладают способностью шевелиться от ужаса. Стержни волос напрягаются и выпрямляются, колко упираясь в кожу черепа. Профессор чувствует это шевеление волос на своей голове и озноб, пробегающий по спине.

Вода! Вода! В трюме гробницы! Правда, они герметически запаяны, но... На дне океана не будет пробуждения ни через двести лет, ни раньше, ни позже.

Черный прямоугольник дверей, ведущих на палубу, взметнулся вверх. В черном прямоугольнике, как в раме, белый, слишком белый кружок лица. Он что-то кричит, этот матрос:

— На палубу! Все на палубу!

Он прыгает вниз, через три ступени, как капитан, стучит кулаками в тонкие филенки дверей и зовет:

— На палубу! На палубу!

Кроме профессора Морана, никого здесь нет: все, кто мог выбраться наверх, уже на палубе, а в нижние каюты хлынул океан и закупорил все двери.

На палубе к бортам мчится белый ревуший поток. Пассажиры, в одном белье, выскочили из кают. Поток несет профессора к борту, где матросы спускают лодки.

Гора? Где ледяная гора? Палец прожектора проткнул тьму и, сажених в десяти, уперся в сверкающую стену, которая медленно уходит в темно-желтый туман.

...Маленький телеграфист в аппаратной радио—по пояс в воде. У маленького телеграфиста рассечена щека. На аппарат падают красные звезды крови. Маленький телеграфист работает. Радио разносит вопли по всему свету:

— «Атлант»... авария...

— ...Ледяная гора... градусы... широты...

— ...Авария... широты... долготы...

— ...2 часа 35 минут...

— ...Трюм... каюты... над водой...

— ...Крен... Спасайте...

— Спасайте! Спасайте!

Ноги маленького телеграфиста свело судорогой. Звездочки крови пятнят аппарат. Телеграфист работает.

Длинный американец вцепился одной рукой в лодку, а другой тычет в лица, отрывающих его от шлюпки, матросов. Американец учился боксу. Матрос с разбитой челюстью падает на спину.

— Сто тысяч долларов! Миллион долларов!—ревет американец. Я—Вильям Кэстль—плачу миллион долларов за шлюпку.

Все хотят жить. Мужчины, женщины, дети хотят жить. Миллиардер Вильям Кэстль хочет жить. Половину состояния за шлюпку для миллиардера Вильяма Кэстля! Кто еще может заплатить так дорого за свою жизнь?

Маленький телеграфист тоже хочет жить. Ему нечем платить за свою жизнь. Вода уже дошла до плеч. Голова маленького телеграфиста над водой, из этой головы глядят глаза, которые хотят жить, а руки под водой работают.

И матросы хотят жить.

— Джентльмены!—кричат матросы.—Джентльмены! Раньше всех дети и женщины.

Дети и женщины? Миллиард, два миллиарда долларов за шлюпку для Вилльяма Кэстля!

Рябой немец платит меньше, но он платит. Все свое состояние. Он влез на шлюпку, еще висящую на тросах, размахивает револьвером и хрипит:

— Револьвер заряжен. Спускайте шлюпку. Все до последней марки. Не трогайте меня.

Профессор Моран не учился боксу. Но эта свинья, которая влезла в шлюпку... И другая свинья, Вилльям Кэстль... Опять напрягаются стержни волос... Профессор взмахивает своим маленьким кулачком и втыкает его в мягкое, как тесто, лицо немца, а другой рукой вырывает у него револьвер.

...Одни глаза маленького телеграфиста над водой. Они живые эти глаза.

Бах! Бах! Профессор Моран стреляет в воздух и визжит в истерике: Всякого, кто подойдет убью! Женщины с детьми—сюда. Жирная свинья, вылезай из шлюпки!

Шлюпьяи спускаются в черный провал. Ужасны эти крики, идущие снизу. Стоны, ругательства, плач, треск дерева и злое, остервенелое рычание океана.

...В каюте маленького телеграфиста... Ее нет—этой каюты...

И гробниц нет, и там, где была палуба, океан ткет серебристую парчу из пены. Профессор Моран занял маленький-маленький кусочек места над водой, на капитанском мостике.

Черные агатовые глаза профессора хотят жить. Океан лижет его колени, потом грудь. Простая задача: гробницы погибли, шансов—никаких; в руке револьвер, и если нажать вот эту штучку...

Профессор сжимает зубами дуло. Ну! Ну! Черный агат в глазах пылает: жить, жить! На уровне лица профессора вслухает грудь океана, и волна лижет его своим соленым языком... Ну? В чем же дело?

Неожиданным рывком указательный палец дергает собачку... На профессора обрушивается водяная гора...

Последняя игра.

Сухое личико в сетке синих жилок—отполировано. Тыквообразная лысина цвета старой слоновой кости—в круглой рамке серебряного пуха. Крошечные ручки. Голубоватые ноготки. Джон Хайг. Металлический трест. Две трети мировой металлической промышленности. Факт!

Семенит проворными шагами по красному коврику красного кабинета и морщит переносицу. Когда Джон Хайг морщит переносицу—будут события.

Что такое война? Уйма металла! Сотни тысяч тонн чугуна, меди, стали, железа! Дивиденд! Дивиденд!

Япония вооружена, Англия вооружена, Россия... О, эта Россия! При воспоминании о России у Джона Хайга шевелятся волоски на краях его лысины.

Кто мог думать? Эти большевики не имели ни хлеба, ни денег, ни войска. Они грабили Хайга: четыре завода и рудники на Урале. Большевиков, казалось, можно было взять голыми руками. Но они шелкнули американцев, шелкнули англичан, расщелкали всех и—живут. У Джона Хайга печень не в порядке и, когда он думает о России, то... лучше не думать о России!

Итак, весь мир вооружен и больше некого вооружать. Лозунг для войны сам лезет в руки. Война против милитаризма. Вы хотите, чтобы ваших детей не калечили на войне? Воюйте. Хе-хе-хе, воюйте! Тонны железа, стали, чугуна! Монбланы металла! Акция летят в гору! Золото хлещет рукой! Золото! Золото!

Для тех, у кого нет акций, кто не получает прибылей, нужны красивые слова. Выдумайте хорошую декларацию—и они, как бараны, пойдут на бойню. Хе-хе! А Джону Хайгу нужны не слова, а дивиденды.

Кто против войны? Эдвард Хори. Он в Вашингтоне, он в Чикаго, он в Филадельфии—езде Эдвард Хори. Высидел четыре года каторжной тюрьмы и опять гремит. Тут, там, здесь—слушают его миллионы. Миллионы!

Эдвард Хори не желает войны. Конечно, всякий свободный гражданин С.-А. Ш. имеет право... Но Эдвард Хори не хочет и мира. Он зажигает миллионы голов. Вчера, сегодня в Нью-Йорке, в Филадельфии, в Чикаго металась по улицам кровавые вспышки знамен...

Прежде, чем бросить лозунг войны, надо посадить Эдварда Хорна и и сотни три красных головорезов на электрический стул. Что? Законные основания? Позвольте спросить, что такое законные основания? Хе-хе!

Теле-мегафон—последний крик техники. Джон Хайг нажимает никелированную кнопку. Поворот рычажка. Стрелка скользит по доске с нумерацией. Труба мегафона гремит:

— Слушаю!

— Алло, мистер Прайс.

Над аппаратом вспыхивает экран. На экране—щекастое лицо с тремя подбородками—настоящий бульдог. Это Вильям Прайс. Каменноугольные копи и газовые заводы.

— Ой-райт! Начнем!

— Начнем! Сейчас я вызову Мариам Дэвис и братьев.

Опять поворот рычажка. На экране — Мариам Дэвис с братьями. Нефтяные источники.

У Мариам Дэвис белое, мертвое совсем фарфоровое лицо. Тушь восстановила ее вылезшие брови. Под бровями безразличные, как у куклы, глаза без мысли и огня. Не глаза, а голубоватые стеклышки.

Братья:

Спортсмен Леон. Он тонок и длинен, как вязальная спица. Челюсть быка, лоб узенький, зарос рыжими волосами.

Бабник и обжора Тодди. Каждое утро ему подают меню всех первоклассных ресторанов, Нью-Йорка. Своему любимому повару он обещал оставить, после своей смерти, полмиллиона долларов. У Тодди все лицо ушло в огромный нос, нижняя губа презрительно выпячена, фигура — наверху острая, внизу расширяется, живот — в два обхвата.

Мариам Дэвис и братья кивают головами на экране. Джон Хайг кланяется экрану и бросает в приемник сухие обрубки фраз:

— Начнем совещание. В узком кругу. Остальных оповестим о результатах. Итак: во-первых, печать. Как обстоит дело с печатью, мистер Прайс?

Вильям Прайс скалит свои золотые зубы на экране. Мегафон грохочет.

— Хо-хо-хо! Кушлена! Два миллиона долларов. Кроме того, «Нью-Йоркский Вестник» объявляет завтра лотерею для розничных читателей в сто тысяч долларов.

— Это для чего? — удивляется Джон Хайг.

Вильям Прайс прищуривает левый глаз.

— Это ловкая идея! Моя идея! На одном из экземпляров газеты будет выигрышный номер. Газету будут рвать из рук газетчиков.

— Ага!

— Ага! Ага! — произносят в мегафоне джентльмены и лэди.

Тодди Дэвис расслабленно стонет:

— О-о, у меня опять почки!.. Вчера я устроил банкет для... чорт подери мои почки!.. журналистов и депутатов. Они положительно не умеют есть, как порядочные лю... Ой-ой!.. Были речи...

Мистер Хайг нетерпеливо морщит переносицу:

— К делу! Что мы сделаем с Хорном?

Нарисованные брови Мариам Дэвис дрожат:

— Этот ужасный человек... Почему он не в тюрьме?

Вильям Прайс делает вид, будто считает монеты:

— А это средство?

— Это средство не годится,—возражает Джон Хайг.—Хорна нельзя купить.

Брови Вильяма Прайса убегают в лоб:

— Что значит нельзя купить? Все покупается. Вопрос сводится к тому—за сколько.

— Хорна невозможно купить—повторяет Джон Хайг.—И в конце концов, дело не в нем. Что значит Эдвард Хори без масс?

Спортсмен Леон, рассматривавший до сих пор свои ногти, роняет в мегафон свою первую и единственную фразу:

— Все можно купить. Массы тоже можно купить.

И снова принимается за свои ногти.

Джон Хайг согласен с Леоном Дэвисом. Именно это он и имеет предложить. Джентльмены понимают сами, что, если перед носом лошади повесить клоч сена. Словом, лошадь побежит за сеном, а не за Хорном.

Дивиденд против Хорна и его идей. Выпуск акций в мелких купюрах. Рабочие трех самых мощных трестов делаются акционерами. Конечно, это—горе-акционеры, но... Рабочий, получающий дивиденд, негодный материал для идей Хорна. Хори может сколько угодно долбить о коммунизме, у рабочего в мозгу будет звенеть одно: «дивиденд». При этом: самая широкая рассрочка! Самые льготные условия!

Какой-то король сказал что-то про курицу в супе каждого фермера. Ах, да! Король сказал, что он желал бы, чтобы в супе каждого фермера была курица. И если бы фермеры ежедневно ели курятину, у короля была бы голова на плечах, а не на эшафоте.

Итак, джентльмены дадут каждому рабочему по курице. По курице, несущей дивиденд. Джентльменам это не будет стоить ни одного цента. Но зато Хорну это будет стоить нескольких сот тысяч рабочих. Факт!

В мегафоне трещат хлопки. Джентльмены желают носить свои головы на плечах.

Рабочие льются потоками по асфальту тротуаров. В свете дуговых фонарей и витрин снежинки кружатся, как белые мотыльки, и белят головы, плечи, верхи пролетов, крыши омнибусов и трамваев. Рыжий туман. Тусклые пятна огней.

Рабочие вливаются в зал. Сзади напирают кэпи, котелки, шляпы. Спереди—плотина кэпи, котелков, шляп.

Стоп! На-страже порядка круглый полисмен. Сначала он поднимает свой нос—картофелину, потом—палочку. Стоп!

Что значит стоп? Нет места? Великолещно! Для токаря Пиртона не найдется места? А известно ли бобби, что сегодня говорит Хори? Хори

будет говорить о безработице. Токарь Пиртон сидит без работы. Токарь Пиртон имеет право послушать речь Хорна о безработице.

Что? Свисток? Ну, право, скоро с полицейским сейчас не входит в расчеты Пиртона. Пиртон ныряет в толпу и, припадая на свою хроющую ногу, уходит подальше от греха.

Огненными аршинными буквами кричат бюллетени на витринах газет. Пиртон вмешивается в толпу, стоящую перед витриной.

— Япония стягивает флот!— кричит бюллетень.

— Англия вручила ноту правительству С.-А. Ш.!

— Секретное заседание во французской палате!

В потоке шляп, котелков и кепи мелькают белже листы вечерних газет. Их рвут у газетчиков, читают у витрин магазинов еще свежие, маркие от типографской краски, столбцы.

— С.-А. Ш. не желают войны. Но С.-А. Ш. предупреждают, что...

— Прием послов Англии, Японии и Франции в Белом Доме... Американский народ не допустит...

— Нам нужна почва в Китае. Япония интригует.

Что? Опять втирают очки! Точь в точь, как перед прошлой войной. Хромой Пиртон потерял ногу на той войне, потерял работу после войны, потерял жену от безработицы. То-есть, умерла от чахотки, а чахотка началась от безработицы... Нет, Пиртона больше не поймают на эту удочку!

Котелки и кэпи шумят у витрины «Нью-Йоркского Вестника». Опять война, опять? Пусть воюют те, кому она нужна.



В дверях редакции господин в цилиндре. Он снимает цилиндр и машет им.

Тише! Тише! Мистер Реджинальд Гордон, директор «Вестника» желает говорить... Тише!

Весь мир, кроме миролюбивой Америки, вооружен до макушки. Мистер Реджинальд Гордон уверен в том, что американский народ этого не потерпит. Во имя человечности и цивилизации. Америка не желает войны. Но война за разоружение — это другое дело.

Одна кэшка, всунув два пальца в рот, произительно свистит. Пиртон нагибается за чем-то. Но на Нью-Йоркских тротуарах трудно найти камень, и Пиртон швыряет свой костыль в Реджинальда Гордона, директора «Вестника».

— Мошенник! Кто тебя купил? — кричит хромой Пиртон. — Теперь вы уже не заговорите нам зубов!

— Вы уже не заговорите нам зубов! — кричат кэпи и котелки.

— Реджинальд Гордон скрывается в дверях редакции. Звенит стекло. Блестящие осколки дождем брызжут на тротуар. Бюллетень в витрине гаснет. Свист, грохот, звон. Над кэпи и котелками работают белые дубинки полицейских...

И опять несет толпа хромого Пиртона, потерявшего ногу, потерявшего жену, потерявшего костыль. Что у него осталось? Руки? Их не покупают. Никто и нигде! Ни в Америке, ни в Европе. Везде кризис, кризис.

Толпа несет Пиртона дальше и дальше, куда-то в желтый туман. Как сверчки верещат со всех сторон свистки полицейских.

Вдруг наверху, над головами, вырастает человеческая тень. Она огромна, и, кажется, будто своей головою она касается крыш небоскребов. Она грохочет, как гром:

— Товарищи!

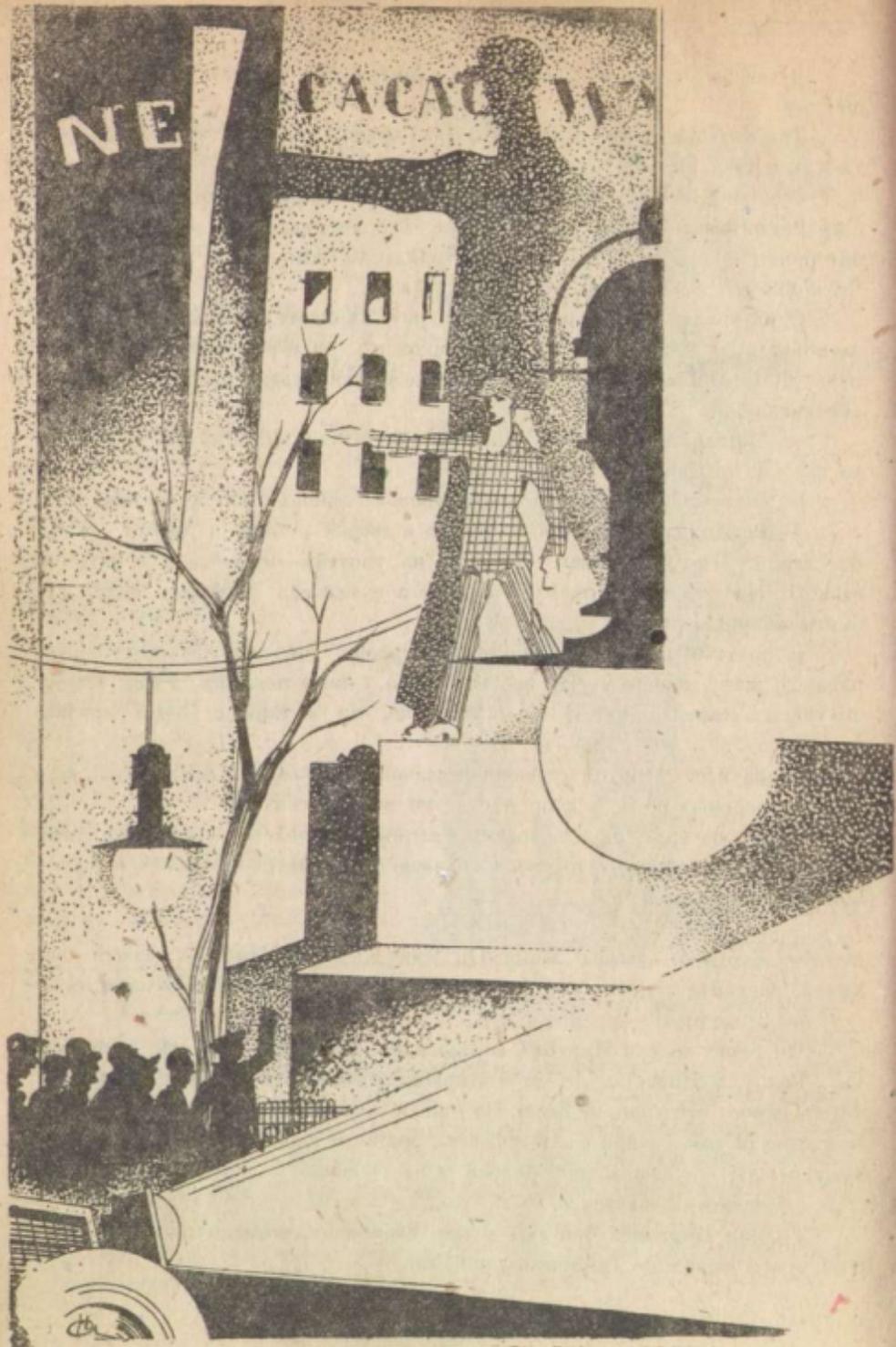
— Кто это? Эдвард Хори! Он взобрался на памятник. Туман увеличил, растянул тень от его фигуры. Толпа смыкается вокруг памятника.

— Товарищи! — гремит он.

Он берет мысли Пиртона, сгущает их, зажигает их огнем и бросает их в толпу, в Пиртона. Да, да и Пиртон думал то же самое, и все думали то же самое, что говорит Хори. Но они не знали своих мыслей, они только чувствовали их, а Хори их выражает горячими словами. И все подхватывают мысль, которая давно бродила в их головах:

— Великая забастовка.

Тысячи Пиртонов бросают вверх свой кэпи, котелки и шляпы. Рыжий туман наполнен громкими криками.



Тень на памятнике тает. Хори спешит в другой конец города. Из тумана надвигаются новые лавины народа. Улицы, площади, скверы гремят. Унизаны людьми деревья, решетки, подножия памятников. Люди поднимаются из туннелей метрополитана. Люди спускаются с платформы вишней железной дороги. Люди идут по панелям, по мостовым, по мостам. Идут! Идут!

Джон Хайг просыпается в своей спальне и протягивает руку к звонку. Он долго звонит, пока, наконец, приходит слуга. У Джона Хайга злобещая морщинка на переносице. Но старый лакей бледен, руки у него трясутся и Хайг в тревоге привстает на кровати.

— Где газеты, Дик?

— Газет нет, — угрюмо отвечает слуга.

— Газет нет? Как нет? Отчего?

— Они не вышли. Забастовка.

— Забастовка? — переспрашивает Джон Хайг. — Гм, забастовка!..

Отчего так долго никто не отзывался на звонок?

— В доме никого нет, кроме меня. Все разбежались. Вчера ночью, сэр... Пришли из профессионального союза домашней прислуги... Великая забастовка. Она меня не касается, сэр! Честное слово!

Джон Хайг торопится и не попадает в рукава халата. Он идет к умывальнику. Из крана вырывается свист. Воды нет.

— Почему нет воды?

— Великая забастовка, — уныло вторит слуга.

Сотни пропеллеров жужжат в темноте над огромным городом. Человек, затаенный в кожу, со стеклами на глазах, перегнулся через борт головного аэроплана. Париж там, внизу, в глубине восьмисот метров, погасил электричество и грозно ревет пушками, строчит пулеметами, щелкает винтовками в липкой черноте туманной ночи. Ничего не видно. Только над центром рубинится огромное зарево пожара. По темным каналам улиц ползут огненные червячки. Это передвигаются отряды, освещающие себе дорогу факелами.

Головной аэроплан сигнализирует светом. Воздушная эскадра жужжит гуще и спускается. Аэропланы реют над самым городом. Дирижабль в центре эскадры зажигает прожектор. Белый луч втыкается в пропасть над воздушной эскадрой, прокалывает темноту и вырывает из мрака куски улиц, площадей, шпили соборов и дворцов, мосты.

Командующий воздушной эскадрой Николай Баскаков, следит из своей кабинки в головном аэроплане за движением луча. Его штаб из четырех

человек сидит за картой Парижа, разостланной на столе посреди кабины, и втыкает то тут, то там, красные и белые флажки.

Баскаков, не отрываясь от бинокля, диктует:

— Предместья—красные. Елисейские поля—белые. Вандомская площадь—белые. Площадь Пирамид—красные.

Подле аэроплана рвется шрапнель. Внизу установили зенитные орудия и бьют по воздушной эскадре. Но она уже нащупала расположение борющихся сторон. Центр окружен красными. Белые укрепились в центральных кварталах.

Опять сигнализирует головной аэроплан. Эскадра перестраивается среди вспышек рвущейся шрапнели и спускается еще ниже. Слышнее, ярче рев орудий. Каналы улиц приближаются. Они пересечены путаницей проволочных заграждений, взрыты, загромождены. Желтое облако ползет к рабочему предместью Сент-Антуан.

Баскаков отрывается от бинокля. Его лицо искривлено и бело.

— Мерзавцы!—воскликнул он.—Они действуют ядовитыми газами.

И приказывает дать сигнал о начале боя. Красная ракета рассыпается мелкими алыми звездочками. Это сигнал. С бортов аэропланов летят вниз бомбы. Грохот. Сотрясение воздуха. Огненные веера взмывают в высь.

Две сотни аэропланов—точно одна гигантская птица. Сигнал. Все разом скользит вниз, как по воздушным ступеням. Остановив моторы, падают, чуть не задевая крыльями о шпили соборов и дворцов. Бросают дождь бомб. И опять взмет в высь.

Адвадцать пять аэропланов, обшитых бронею, гибко изворачиваясь среди взрывов и воздушных воронок, строчат пулеметами из бронированных, куполообразных кабинок. Под одним воздушным броневином—облачко белого дыма. Брызнули искры. Взрыв. Огромным огненным комом низвергается аэро-броневик в пропасть. Отделившись от него, падает маленькая темная фигура летчика.

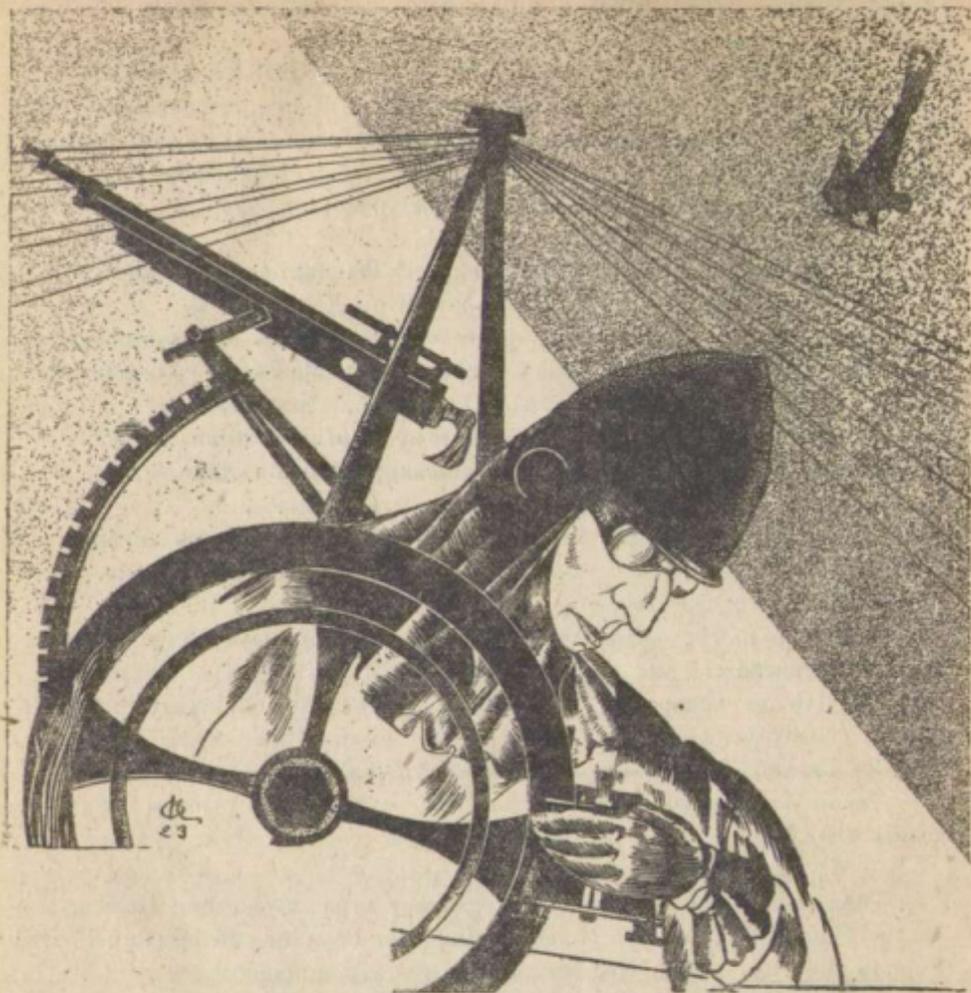
Белый палец прожектора опять выхватывает из темноты куски Парижа: сверкает извив Сены, убегает назад в чугунное кружево мостов, зажигаются золотыми иглами шпили, пробегают площади, бульвары. Все в дыму, в вспышках огня, в движении масс, в нагромождении...

Баскаков весело и бодро распоряжается:

— Превосходно! Переставьте флажки! Красные прорвались в центр!

Сигнальный взмет ракеты. Эскадра поднимается, перестраивается и, снизившись, опять начинается бой.

Каждые полчаса его высочество насыпает на ногу горку желтоватого порошка и втягивает его в свой августейший нос. Его высочество нюхает кокаин.



Но кокани весь вышел, и его высочество впадает в бешенство. Его глаза — точно две никелевые монеты. Он ничего не понимает. Он кричит, брызгая слюной:

— Мерзавцы! Дайте мне кокани! Я не могу жить без кокаина!

Потом он тупеет. Его бритое длинное лицо деревенеет. Впалый лоб покрывается потом. Его высочество вторит:

— Меня расстреляют. Увезите меня подальше. Я боюсь, боюсь!

Утром недалеко от яхты пробегают два миномосца под красными вымпелами. У Джона Хайга, не отрывающегося от подзорной трубы, про-

бегают колкие жгучие иголки по спине: на плакате на носу переднего миноносца написано:

«СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИАТЛАНТИЧЕСКИХ СТРАН».

Мистер Хайг молча смотрит на адъютанта его высочества, лорда Роберта Рой. Лошадиное лицо лорда Рой, как бумага. С трудом выдавливает из себя слова.

— Судна португальские. Значит, там тоже...

И вдруг начинает кричать:

— Сорвите флаг! Американский флаг! Выкиньте красный флаг!

— Лучше никакого, — приказывает Джон Хайг.

Флаг сорван. Яхта идет без флага. Через часа два яхта останавливает парусную рыбацью шхуну. Седой рыбак. Лицо обожжено солнцем. Ярко блестят белые зубы и белки глаз. Он стоит на палубе яхты, расставив широко ноги, и выбрасывает гортанные непонятные комки звуков.

Что? Что он говорит? — жадно спрашивает Джон Хайг.

Офицер переводит, кривя рот в большую гримасу.

— В Португалии рабочее правительство, — вот что он говорит... В Испании тоже... Король в тюрьме... Собственность конфискована. Хорошие дела, нечего сказать!

Рыбак радостно осклабляется и быстро выбрасывает еще несколько гортанных звуков.

— Что он говорит? — опять спрашивает Джон Хайг, чувствуя, что у него сводит челюсть.

— Газета. У его сына на шхуне есть газета.

Джон Хайг втискивает в черную твердую ладонь рыбака бумажку в десять долларов.

— Газету! Живее!"

Маленький серый листок рассказывает страшные вещи: Пожар. Всесветный пожар! Советы в Лондоне, Париже, Берлине, Вене, Риме... Вся Европа советизирована. Под заголовком газеты аншлаг:

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЕВРОПЫ».

— Нет, нет, через Гибралтар не проскочить! — хрипло вскрикивает Джон Хайг и дергает седые клочья волос на своих висках.

Его высочество вышел из каюты на палубу.

— Скоты! Достаньте кокаин! Я умру без кокаина! — дико ревет он. — Одну поюшку! Только одну!

У Джона Хайга улетучилось все почтение к его высочеству.

— Уберите отсюда эту свол... Уберите его! — кричит он.

Нигде в Европе нет места Джону Хайгу. Или Джон Хайг должен подчиниться? Нет! Нет! На восток!

— Нам не хватает угля, — возражает Томсон.

— Мы нагрузим уголь в каком-нибудь африканском порту.

Радио-телеграф быстрее нашей яхты, — упорно возражает Томсон. — Радио в руках красных. Значит...

— Значит, значит... Да, да, он прав, эта рыжая скотина! Радио разносит яд революции по всему миру.

Лорд Рой дрожащими руками протягивает Джону Хайгу газету.

— Читайте.

— Но я ничего не понимаю на этом собачьем языке.

Лорд Рой переводит.

— *Июкогама осаждена японскими революционными партизанами. Русская красная армия высадила десант...

— Не надо больше, не надо, — зажимает уши Джон Хайг.

Лорд Рой упрямо переводит:

— Английская революционная эскадра направляется в Египет и Индию. В Австралии вспыхнула...

Джон Хайг вырывает газету из рук лорда Рой и в бешенстве топчет ее:

— К черту! К черту!

Пена желтоватой цепочкой сбегает с уголков его губ.

— К черту! — кричит он срывающимся голосом.

И вдруг поднимает газету, разглаживает ее, протягивает ее лорду Рой.

— Канада. Про Канаду тут ничего нет?

— О Канаде нет ничего, — отвечает лорд Рой.

— В Канаду, слышите, Томсон! И прикажите поднять красный флаг...

Томсон хмуро ворчит. В конце концов, чего ради он ввязался в эту историю? Ведь он не миллиардер и не принц... Ну, последний рейс, так и быть!

Из каюты его высочества доносится рёв:

— Маленькую повюшку! Крошку кокану, скоты!

Угля больше нет. Машина на яхте молчит. Винты замерли. Яхту медленно несет морское течение. Куда?

Яхту несет на север. Может быть ее вынесет за полярный круг? Может быть, к Гренландии несет океан яхту? Может быть...

Его высочество впал в идиотизм. Он, молча, лежит в каюте и неподвижно смотрит своими никкелевыми зрачками в потолок. Он больше не просит коканна. Он не просит ничего.

Миллиардер Джон Хайг, король стали, плачет. Нет, не плачет. Синие губы растянуты месяцем. Улыбаются. А из глаз падают мелкие бисерные слезинки. Падают на лацкан сюртука.

Миллиардер Джон Хайг беднее последнего нищего. Даже своей жизнью он не распоряжается. Эдвард Хорн победил Джона Хайга. Миллионы Хорнов взяли верх во всем мире. В мире Хорнов миллиардеру Джону Хайгу нет места...

Яхту несет. Молчат машины, умолкли винты. Красный флаг мертво повис на флагштоке.

...Точно гигантские руки рванули в обе стороны обшивку яхты и разорвали ее. Серо-желтое клубистое облако. Брызжут вверх обломки.

Вчера ночью революционная минная флотилия расставила минные заграждения у берегов Америки. Яхта наскочила на пловучую мину.

Мистер Хайг несколько раз ударяет руками по воде. Что-то тянет его вниз. Тело мистера Хайга тяжелеет и опускается глубже, глубже. Вода со звоном смыкается над его головою. Вода шумит в его ушах. Вода врывается в рот, в нос.

Мистер Хайг задыхается. В последнюю минуту он раскрывает глаза. В зеленой мути он видит перед собою огромную гробницу... Мистер Хайг теряет сознание.

Вышки радио-телеграфных станций ловят дрожание эфира.

...Верховный Революционный Совет...

...Совет Европейской Федерации...

...Верховный... Совет... предлагает...

...Всемирный Конгресс Советов...

...Верховный Совет... Совет... Совет...

...предлагает... образовать... Всемирные Соединенные Штаты Советских Республик...

...Конгресс Советов... Европы... Америки... Азии...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Пробуждение.

В первой четверти двадцать второго столетия солнце так же горячо, как двести лет тому назад. Солнце так же скользит огненным шаром по опрокинутой голубой чаше неба и так же золотит землю... Землю? Земли, голой земли, так мало, ее почти нет нигде на земном шаре. Улицы, скверы, площади, опять улицы — бесконечный, бескрайний всемирный город. К первой четверти 22-го столетия все города мира слились в один город. Через океаны, по насыпанным искусственным островам, протянули материка друг другу навстречу свои улицы: Америка — Европе и Азии, Азия — Австралии, Австралия — Африке. В гигантских кессонах¹⁾, опущенных в океаны, работали полтора столетия, насыпали цепи островов, охвативших поясами земной шар, выстроили ряды улиц от края до края океана и связали отростками городов материк с материком.

Изящные домики-усадьбы в 2 — 3 этажа, утонувшие в цветах и зелени, домики из папье-маше, уплотненного до твердости железа, обшитые алюминием. Дома слили свои плоские крыши, перекинутыми воздушными кружевными мостами в гигантскую, бесконечную террасу, обсаженную ровными рядами деревьев, с зелеными лужайками, с фонтанами, с павильонами. Кой-где высятся громады университетов и общественных зданий, сверкающие золотом и лазурью своих куполов и шпилей.

А внизу — тротуары и мостовые из папье-маше — вся земля зашита в плотную непроницаемую броню.

Но во всемирном городе, в бронированных улицах, также легко дышат, как когда-то в лесах. В бесчисленных химических заводах выраба-

¹⁾ Металлический ящик, открытый снизу, который опускается на дно для строительных работ.

тывается озон ¹⁾. Он струится по сети труб на улицах и насыщает воздух.

На широкой площади—огромное круглое здание с голубым прозрачным куполом. Университет. По ступеням в широко распахнутые двери льется народ. В легких одеждах из светлой ткани. Мужчины и женщины одеты одинаково. Головы без волос, лица—бриты; сильно развитой череп, ярко выразительные лица; подвижные, бойкие глаза радостны и налиты энергией. У женщин лица тоньше, формы тела округлее, стройнее, мягче.

К куполу причаливают воздушные машины. Они бесшумны. Ни моторов, ни крыльев. Это воздушные корабли с поршнями. Особые аппараты поглощают шум поршней. Сгущенная внутри-атомная энергия ²⁾ приводит в движение небольшой двигатель. Корабль юрко-проворно и быстро скользит по воздуху. Прилетевшие на кораблях спускаются в зал на лифтах.

Огромный круглый зал охвачен подковами скамей и пюпитров. В центре возвышение, и на нем, на помостах, стоят две огромные гробницы. У длинного стола, перед гробницами, сидят несколько пожилых человек. В зале совершенно тихо. Около десяти тысяч человек в зале—и ни звука.

Звонкий удар колокола. Шелест движения десяти тысяч человек. Все прикладывают к вискам две крошечные чашечки, которые присасываются к коже. Присоединяют провода, идущие от чашечек к штепселям, укрепленным в пюпитрах. От штепселей провода убегают вверх, к куполу, к системе цилиндров. Этот прибор—чашечки, провода, цилиндры—представляют собой идеограф, передающий человеческую мысль, идеи, душевные переживания. Идеально чувствительная пластинка в чашечке идеографа отражает малейшее колебание нервного вещества в мозгу и переносит эти колебания толчками к слушателю, вызывая у него те же идеи, мысли и представления.

Встает старик Стерн. Он мысленно произносит:

— Друзья! Я начинаю свою лекцию.

Идеограф переносит его мысль в сознание десяти тысяч слушателей. Больше того: от купола университета бежит вниз и дальше по подземной трубе кабель. В каждом доме всемирного города находится аппарат идеограф. Десятки тысяч людей в разных концах мира присоединяют к кабелю идеограф и слушают лекцию Стерна.

¹⁾ Газ, получающийся от электризирования кислорода. Уничтожает вредные испарения и микробы в воздухе.

²⁾ Все тела состоят из мельчайших частиц—атомов, обладающих силой взаимного притяжения и отталкивания. Эта сила и есть внутри-атомная энергия.

И в тысячах тысяч голов одновременно вспыхивает идея:

— Он начинает лекцию.

Стери мысленно возвращается на пол-столетия назад.

И в сознании тысяч и тысяч людей возникает мысль:

— Пятьдесят лет тому назад...

— Пятьдесят лет тому назад,—чеканит мысль Стерна,—при установке кессона, у северо-восточных берегов Америки, были найдены эти две гробницы. Они застряли в подводных камнях, обросли водорослями и морскими слизняками. Гробницы были извлечены из океана.

— Кто не знает истории открытия и извлечения этих знаменитых гробниц!—мысленно прерывают слушатели Стерна.

— Все знают об этих гробницах,—отпечатлевается в уме лектора.

Стери не останавливается больше на этом, тем более, что времени осталось мало:

— Вам известно, что в гробницах находятся в анабиотическом сне два древних человека—мужчина и женщина. Их сон длился двести лет. Ровно через десять минут вскрыются крышки гробниц. Вам известно, что газ замечательного ученого Морана опасен. Наденьте противогазные маски.

Шелест. Все надевают принесенные с собой маски.

Удары колокола отсчитывают минуты:

— Бом! Бом! Бом!

Звонкий треск. Над гробницами взлетает облако пыли. Голубой газ, пронизывающий холодом до костей, наполняет зал. Но зал слишком велик, и мороз мгновенно спадает. Десятки электрических вентиляторов тотчас же выгоняют газ наружу.

— Маски можно снять,—мысленно диктует Стери.—Слушайте!

Президиум встает с мест. Взбирается по лесенкам внутрь гробниц.

В умах тысяч и тысяч идеограф рисует картину: на дне гробниц две фигуры в красной шелковой ткани. Президиум рвет шелк. Белеется нагое тело. У левого бока, у сердца обоих людей, часовой механизм с лезвием, занесенным над каучуковой трубкой, проникающей в артерию. По трубке из бидона, стоящего в углу гробницы, бежит оживляющая жидкость. Лезвие медленно опускается на каучуковую трубку...

Во все концы мира идеограф несет отражения этой картины и переливает впечатление тех, кто на дне гробниц наблюдает ее, в головы, стиснутые чашечками идеографа.

Стери прикладывает к сердцу фигур слуховую трубку и диктует:

— Слушайте! Слушайте!

Тысячи тысячи человек ощущают отраженные идеографом слабые, робкие толчки двух пробуждающихся сердец. Тук-тук-тук—стучится воскре-

сающая жизнь. Тук-тук—слышат ее бление в разных концах мира. Шум воздуха, врывающегося в оживающие легкие.

— Слушайте!

Тупой стук. Лезвие обрезало трубки. Рычажок закрыл ранки.

Стери прикладывает к вискам Викентьева и Моран чашечки идеографа:

— Слушайте! Слушайте!

— Но они мыслят на своем языке. Как же мы пойдем?—несется со всех сторон к Стерну.

Стери укоризненно качает головой:

— Разве вы забыли все, чему вы учились? Что такое мысль? Это, во-первых, химический процесс—преобразование нервного вещества. Это, во-вторых, физическое явление—перерождение клеточек мозга, колебание молекул, атомов, электронов ¹⁾. Слова—это облачка, надстройка над всеми этими процессами. Значит, идеограф, передающий все эти колебания и изменения и вызывающий соответствующие явления в вашем мозгу, срывает оковы языка с мысли. Идеограф передает мысль на языке движения. Итак...

Стери обрывает свою маленькую лекцию:

— Слушайте! Слушайте, о чем думают, что чувствуют пробуждающиеся от двух-векового сна!

Викентьева несет куда-то вверх, потом в сторону, качает, зыблет. И вдруг остановилось. Звон в ушах. Голова наливается звоном. Тело точно не свое, деревянное, омертвевшее. Потом теплее, теплее, как будто кто-то тепло дышит на голову, на плечи, на грудь, на живот.

Ах, какая жгучая боль у сердца! Отчего? Да, да! Профессор Моран... Белый операционный стол... Сладко-терпкий запах хлороформа. Не надо! Викентьев хочет жить! Не надо анабиоза!

Светлые пятна плывут в глазах. Что-то горячее вливается в тело, проникает во все его поры...

Дрожание закрытых век Викентьева. Из-под ресниц блестит светлая полоска белков, потом вычерчиваются зрачки, мутные, тусклые, без мысли.

Над Викентьевым наклонились две лысые головы с черными чашечками на висках.

— Как вы себя чувствуете?—мысленно спрашивает Стери.

— Как они себя чувствуют?—спрашивают по идеографу тысячи и тысячи людей.

¹⁾ Мельчайшие частицы вещества—атомы состоят из частиц, называемых электронами.

И, отраженный идеографом, вопрос возникает одновременно в уме Викентьева и Евгении Моран:

— Как я себя чувствую?

Как они себя чувствуют? Звон в голове не перестает. Слабость. Хочется есть, ужасно хочется есть.

Викентьев подымается на локтях и, напрягая все силы, садится. Стери и его товарищ поддерживают его. В другой гробнице приподнимают Евгению Моран. На них набрасывают легкотканную одежду.

Ведут по лесенке вниз, на эстраду. Вот они, вот они, люди старины! Волосатые существа с грубыми, топорными линиями лица. Вот они!

Тысячи глаз впилась в Викентьева и Евгению Моран. Тысячи голов вспоминают историю этой эпохи.

В то время, когда они жили, гении трудились над изобретением орудий для истребления людей. В их время были отвратительные боины. В их время было рабство. Миллиарды людей не имели права на сытость, на радость, на жизнь. Горсточка людей владела их трудом, их богатствами, их мыслями, их жизнью. Это правда? Вы, очевидцы, современники—расскажите нам.

У Викентьева и Евгении Моран бьются в голове тысячи мыслей... отраженных идеографом:

— ...Волосы... У нас волосы... Мы люди старины...

— ...Люди убивали людей... Боины... Машины для убийства... Ужас!

— ...Кучка людей... грабила труд миллиардов других людей... Проституция... голод...

Поток мыслей! Голова болит от мыслей. Зачем этот голубой зал? Кто эти странные люди с проводами у голов?

И несется со всех сторон по идеографу ответ:

— Мы люди двадцать второго столетия, граждане всемирной коммуны.

Викентьев и Евгения Моран почти теряют сознание от усталости и потрясения. Стери отнимает чашечки идеографа от их висков. Сразу гаснет в их головах фейерверк мыслей. И только одна радостная мысль бьется в них:

— Мы живы! Живы!

Евгению и Викентьева усаживают в радиомобиль—экстаус, напоминающий автомобиль, но приводимый в движение внутриатомной энергией радия. На радиомобиле нет шоффера. Стери нажимает кнопку на стенке радиомобиля, и машина бесшумно скользит по мостовой.

Ночь. На небе россыпь огней, как двести лет тому назад. Но на улицах ясный день, странный день—серебристо-голубой. Откуда этот свет? Светятся мостовые, тротуары, стены домов. Они покрыты светящимся

веществом. Радиомобили несутся по светящейся улице, полной звуков музыки, доносящейся с терасс, с крыш домов.

Викентьев поражен. Как эти экипажи сами, без шофферов, лавируют по улицам и в стремительном беге не сталкиваются друг с другом?

— Профессор, — обращается он к Стерну, — как управляются эти машины?

Стери не понимает его языка. Он надевает на головы Викентьева и Евгения идеографы, и те осознают мысленное обращение к ним Стерна.

— Это прибор для сообщения мыслей. В чем дело?

Викентьев повторяет свой вопрос.

— Прежде всего у нас нет профессоров — отвечает Стери. — Ни профессоров, ни ученых, ни других специальностей. Благодаря системе нашего общества и технике, у нас нет разделения труда.

— Но разве всякий умеет читать лекции? — возражает Евгений.

— Всякий гражданин Мирового Города, достигший зрелости. Сегодня я читал лекцию. Вчера я работал у экскаватора. Завтра я намерен работать на химическом заводе. Мы меняем род деятельности по свободному выбору, по влечению.

Викентьев перебивает Стерна. Его интересует движение радиомобиля.

— Радиомобиль приводится в движение разрядами радия, — объясняет Стери.

— Но каким образом он регулирует свое движение?

— Вы видите впереди радиомобиля счетную поверхность из выпуклых стенов. Это глаза радиомобиля.

— Глаза? — изумленно восклицает Викентьев и Евгений.

— Да, глаза, — невозмутимо отвечает Стери. — У радиомобиля двести таких глаз. Каждый глаз отражает встречные предметы. Теперь наблюдайте: навстречу нам мчится радиомобиль.

Стери открывает крышку радиатора. Вторая крышка — стеклянная. Радиатор внутри разделен на несколько десятков отделений, в которых находится бугристая молочно-желтая масса.

— Это светочувствительная масса, — объясняет Стери. — Вы видите, в одном из отделений отразился встречный радиомобиль.

— Масса в ящичке вспыхнула, — восклицает Викентьев. — Она выделяет какой-то газ.

— Да, под влиянием света, в массе происходит химическая реакция. Выделяющийся упругий газ большой плотности входит в эту трубочку, в отделения, толкает поршень, который приводит в движение рычаг руля... Но мы приехали.

Стери нажимает кнопку. Радиомобиль останавливается у под'езда. Широкие ступени ведут в вестибюль, сверкающий золотистым светом, люющим со стен и с лепного потолка. Пол устлан коврами. Свет золотит ряды палм у стен. Далеко где-то сплетаются тихие, тонкие звоны музыки.

— Это ваш дом?— спрашивает Евгения.

— Мой? Зачем?— усмехается Стери.— У нас нет ничего своего. Это дом Мировой Коммуны. Я здесь живу.

— Какое роскошное здание!— восхищена Евгения.

— У нас все дома такие... Ну, войдите в лифт.

Нажим кнопки. Лифт несется вверх, отзванивая этажи. Площадка третьего этажа.

В комнатах тот же золотой свет, та же далекая, тихая музыка. Яркие пятна картин на стенах. Выпуклости художественной лепки на потолке. Ноги мягко ступают по играющим краскам на пушистых коврах. Переплелись красочные линии по шелку мебели, портьер и гардин. Всюду цветы, цветы. Тонкий запах.

— Эти комнаты предоставляются вам. Эта — вам, а та — нам, — указывает Стери.— Если вам не нравится это освещение, то...

Он подводит их к небольшому ящичку в стене. В ящичке полукруг стеклышек всех оттенков. Стрелка указывает на золотистое стеклышко.

Поворот стрелки. Комнату заливает теплый рубиновый свет. Еще поворот — лиловый, серебристый, фиолетовый... Опять золотой.

— Каждый гражданин может выбирать по своему вкусу мебель, украшения комнат. Надо сообщить только по идеографу в коммунальное бюро своего дома...

— Но это все не дается же даром,— замечает, потрясенный впечатлениями, Викентьев.— Надо же быть чем-нибудь полезным обществу. К чему мы пригодны в этом новом мире?

— Вы можете свободно распоряжаться собою, — отвечает Стери.— Выберите любой род деятельности.

— Но если мы ничего не сумеем делать? — спрашивает Евгения.

— Сумеете.

— А если не захотим?

— Захотите,— загадочно улыбается Стери.— Никто вас не будет заставлять, но вы захотите сами работать...

Викентьева и Евгению мучают голод и сон.

Стери кивает головой:

— Да, да, я знаю. Ведь, благодаря идеографу, вы не можете не скрыть ничего. У нас нет тайн и нет лжи.

— Да, мы хотим есть и спать.

— Есть и спать! Устарелые понятия. Я не дам вам ни есть, ни спать, но вы будете сыты и бодры.

Он открывает дверь в соседнюю комнату. В ней почти нет мебели. Две ванны, накрытые стеклянными колпаками; никкелированные краны; душ, металлические цилиндры.

— Сейчас вы будете сыты и бодры, — повторяет Стери.

— Разденьтесь и садитесь в эту ванну.

— Как? При вас? При нем? Мне стыдно!

Стери не понимает, отчего ей стыдно. Разве это душно — раздеться и сесть в ванну с питательной жидкостью?

— Я женщина. Я не могу при мужчинах.

Почему женщине стыдно? Стери решительно ничего не понимает. Ведь, у нее нет никакой душной болезни.

Идеограф отчеканивает тайные чувства Евгении. Мало-по-малу Стери начинает понимать. Половой стыд — предрассудок старины...

— Нам неведом этот стыд. У нас нет нечистых мыслей, присущих эпохе насилия, лжи и условностей... Разденьтесь же. Вы сами не сможете устроить это... Я должен вам помочь.

Евгения покоряется, потупив глаза и краснея. Стери накрывает ванны стеклянными колпаками, открывая краны. Ванны наполняются бесцветной жидкостью с пряным ароматом.

Каждая пора тела жадно всасывает эту пахучую жидкость. Тело становится уругим, мышцы наливаются силою, быстрее бежит кровь по артериям и венам, четко работает ум. Бодрая теплота разливается по всему телу.

Стери открывает крышки.

— Эта питательная жидкость восстанавливает разрушенную материю, питает клеточки, проникая всасыванием в поверхностные кровеносные сосуды, а оттуда в вены и артерии, — сообщает он. — Желудку нечего делать в наше время... Теперь станьте под душ. Несколько неприятное ощущение — и пройдет сонливость.

Из душа льется ослепительно яркий сноп лучей. По всему телу пробегают жгучее колотье. Легкая судорога передергивает лицо.

— Радиоактивный душ поглощает яды и убивает бактерии, образующиеся в клеточках мозга во время бодрствования и вызывающие сон — объясняет Стери.

Неприятное ощущение проходит. Викентьев и Евгения, бодрые, полные энергии, одеваются.

— Неужели в ваше время никогда не спят? — удивляется Викентьев.

— Нет, мы не спим. Спят только мертвые. Мы экономим на сне и живем вдвое больше, — улыбается Стери. — Ну, теперь я вас оставляю. Когда я вам понадобится, вызывайте меня, где бы вы не были, по идеографу № 0.0073.

Аппарат идеографа на стене дает три коротких звонка и четко произносит:

— Викентьев! Моран!

Они прижимают чашечки идеографа к вискам. Свет в комнате гаснет. На экране, над идеографом, огромная атлетическая фигура. Черные острые глаза. Энергичное лицо с острым подбородком, с твердым очерченным тонким носом и выпуклым лбом.

— Лесли. Изобретатель Лесли. Вы еще ничего не слышали обо мне? Меня знают в каждом доме Мировой Коммуны. Я интересуюсь вами. Как вы себя чувствуете?

— Хорошо. Вполне хорошо.

— Я видел вас, Евгения Моран. В университете. Вы нравитесь мне. Женщины вашей эпохи красивы...

— Зачем вы об этом говорите, Лесли?

— Я не говорю, а думаю. У нас нет тайн. Идеограф передает каждую тайную мысль. Мы не властны ничего скрывать... Вы мне нравитесь, Евгения Моран!

— Мне нечего ответить вам. Я вас не знаю.

— Вы не хотите говорить со мной?

— О нет! Я не думала этого...

— Викентьев! Вы связаны с Евгенией Моран. Вы любите ее?

— Мы двое в одном этом чужом нам мире. Мы связаны нашим одиночеством среди вас. Но...

— Я, Лесли, спрашиваю вас не об этом. Связана ли с вами Евгения Моран, как женщина? Любит ли она вас? Любите ли вы ее?

— Мы не думали об этом.

Викентьев и Евгения видят на экране себя самих и Лесли. Лесли протягивает к Евгении руки.

— Вы нравитесь мне. Если бы стали моей подругой... У нас чувство свободно, и если мой призыв находит у вас отклик...

— Я ничего не могу сказать вам, Лесли. Я вас совсем не знаю.

— Я, — Лесли, изобретатель идеографа. Сейчас я работаю на острове Яве над изумительным прибором... Я ведь поглощен своей работой. Но вы позволите мне в часы отдыха говорить с вами.

— Ничего не имею против этого.

Гаснет изображение на экране. В комнате вспыхивает свет.

— Это смело со стороны этого Лесли, — говорит Викентьев и морщится от странного чувства не то тоски, не то страха.

— И неожиданно, — добавляет Евгения и смотрит пристально на Викентьева.

Викентьев напряженно думает. О чем спросил его Лесли? О его отношении к Евгении. У нее голубые глаза и волосы цвета сумерек. У нее звенящий голос... Но не в этом дело, не в этом... Она ему близка, потому, что они одиночки, она — единственная.

Евгения думает о словах Лесли. Эти люди 22-го столетия обладают совершенно иным душевным складом. Что она знает о них? Почти ничего. Точно пустыня вокруг нее. Если бы не было Викентьева, то... Евгения вздрагивает при мысли об этом.

Они не отняли еще чашечек идеографа от своих висков и читают мысли друг друга. Викентьев протягивает обе руки Евгении:

— Единственная!

Она не отнимает своих рук и, раскрыв губы, неслышно шепчет что-то. Викентьев улавливает по идеографу.

— Он близкий... Самый близкий... Родной...

Викентьев крепко сжимает обе руки Евгении. Она вся сжалась — маленький дорогой клубочек.

— Это я, Стери. Вы здоровы, мои друзья?

На экране идеографа улыбается сморщенное лицо Стерна.

— Я был два дня на силовой станции. Да, вы, вероятно, не знаете, что это. Смотрите на экран. Я вызову ее в своем воображении, и ее отражение из моей памяти перенесется по идеографу к вам.

Изображение Стерна на экране тускнеет. По идеографу доносится рев потока. Мощный искусственный водопад свергается с огромной вышины. Вода падает в гигантские турбины. Они вращаются и приводят в движение десятки динамо-машин. Светящееся здание из дураллюминия¹⁾ сотрясается от стука машин. Внутри здания — ни души. Автоматические регуляторы управляют работой машины. Вот соскочил передаточный ремень. Снизу поднимается трехзубая вилка и, подхватив ремень, надевает его на колесо, с которого он сорвался.

Идеограф отпечатывает мысленное объяснение Стерна:

— Это силовая электростанция. Она работает сама, без человеческого присмотра, как большинство наших механизмов, при помощи саморегуляторов. Ее движение вечно, пока бьет водопад, а водопад неистощим, потому что его питает океан. Она рассылает миллионы киловат-часов электри-

¹⁾ Дураллюминий — металлический сплав — легче и тверже алюминия.

ческой энергии заводам и фабрикам. В случае поломки, станция автоматически дает сигнал в бюро повреждений и вызывает механиков.

Изображение электростанции исчезает. На экране опять Стери.

— Теперь, друзья мои, подымитесь на террасу. Сейчас будет произведен плебисцит о принятии вас в число граждан Мирового Города.

— Но мы не знаем вашего политического строя. Мы ничего не знаем.

— У нас нет политического строя,— коротко отвечает Стери и скрывается.

Викентьев и Евгения поднимаются на террасу. Ее лужайки, аллеи, фонтаны залиты тем же серебристо-голубым светом. Там же тихая музыка разносится радио-мегафоном по всему миру из невидимого, далекого концертного зала и слышится и на террасе.

Аллеи запружены движущейся человеческой лавиной. Над головами снуют воздушные корабли, светящиеся окошками своих кают.

Высоко на небе точно чиркнули спичкой. Огненный жгут ракеты. Она рассыпалась дождем алых, желтых и фиолетовых звездочек. Музыка мгновенно обрывается.

Невидимый радио-мегафон произносит несколько слов на странном языке. Викентьев и Евгения улавливают знакомые созвучия, но этот язык энергичнее и экономнее языков их эпохи, и им трудно понять, о чем идет речь.

Их окружает толпа, приветственно машет руками и выкрикивает те же слова. Несколько рук поднимают их над головами. Крики становятся громче. Им надевают идеограф, и они улавливают сознанием:

— Мировой Город приветствует вас, жители древнего мира, и принимает вас в число своих граждан. Вы пользуетесь всеми благами наравне с нами.

На небе выскакивают какие-то огненные знаки, чередующиеся световыми иллюстрациями. Иллюстрации изображают гробницы, их извлечение подъемными кранами из океана, вскрытие, пробуждение Викентьева и Евгении.

— Электро-газета,— объясняют им по идеографу.— Сообщите, пожалуйста, в электро-газету историю вашего усыпления. Вспомните все, что было, и этого достаточно.

Викентьев мысленно восстанавливает картину своего усыпления. И тотчас же на небесном экране вспыхивает текст и ряд изображений: профессор Моран, его лаборатория, пробуждение его собаки, его помощники, операционный стол, хлороформирование Викентьева.

— Электро-газеты отражаются на всем полушарии,— объясняет кто-

то.—На восточном полушарии ее воспримут через идеограф, потому что там теперь день, а днем небо не может служить экраном.

Движущиеся огненные буквы на небе тускнеют и гаснут. Вместо них всыхивают огненные цифры.

Плебисцит о принятии вас в число граждан,—узнают по идеографу Викентьев и Евгения.—Это номера кварталов Мирового Города, высказавшихся в вашу пользу... Теперь номера кварталов голосующих против. О, их совсем немного... Вы приняты почти единогласно.

Снова шумят приветственные восклицания. Какая-то гражданка, избравшись на выступ террасы, произносит короткую речь, обращенную к Викентьеву и Евгению:

— Пришельцы из древнего мира! Мы, граждане Мирового Города, Мировой коммуны, не знаем ни государств, ни границ, ни наций. Мы одна нация—человечество, и у нас один закон—свобода. У нас нет правительства, ни назначенного, ни выборного; у нас нет политического строя. Но в нашем обществе царит гармония, порядок, согласованность, товарищество. Вместо органов насилия и принуждения, мы создали органы учета и распределения. У нас нет обездоленных и подавленных. Мы все равны, все свободны, все слиты в одном устремлении к полному братству. И мы, свободные люди, приветствуем вас, детей рабской и кровавой старины! Мы хотим вас принять в свою свободную среду и приобщить вас к нашему коммунистическому миру.

Гражданка окончила речь. К террасе причаливает воздушный корабль. Стери спускается с корабля и, взяв под руки Викентьева и Евгению, ведет их по трапу на палубу.

— Мы сделаем с вами большое путешествие по Мировому Городу, чтобы познакомить вас с его организацией.

Корабль бесшумно отчаливает от террасы и плывет над залитым огнями Мировым Городом.

Воздушный корабль скользит над Мировым Городом. Бесшумно всплывает вверх и режет острым носом пряди облаков. Он из легкого металла, дуралюминия. На палубе три каюты с зеркальными окнами, а на носу—капитанская будка, вся из стекла. Остов корабля покрыт светящейся маслой и он разбрасывает во все стороны пучки белых лучей.

Стери от времени до времени заходит в капитанскую будку и садится у аппарата, напоминающего пианино. Он нажимает клавиши, соединенные с рычагами руля, мотора и воздушных камер, находящихся в полом трюме корабля, и направляет его бег—подъем, спуск, повороты. Внутри-атомная энергия приводит в действие поршни. Они сжимают воздух в системе воздушных камер до нескольких атмосфер, выталкивают его, короткими тол-

чками, из клапанов наружу. Эти толчки уплотненного воздуха создают воздушную струю, несущую корабль. Повороты регулируются боковыми клапанами, подъем—нижними, спуск—верхними.

Викентьев и Евгения стоят у борта и любуются Мировым Городом, бегущим под кораблем. Берега Америки—позади. Лоснится темный шелк океана. По молу, воткнувшему свой длинный палец на сотню миль в океан, по насыпанным островам, связанным висячими мостами, все тянутся и тянутся серебристо-голубые, светящиеся каналы улиц, дома-сады, висячие мостики, точно оплетенные зеленью, и зеленые аллеи террас, играющие фейерверками огней.

Соединенные проводами идеографа, Викентьев, Стери и Евгения читают мысли друг друга. Викентьев и Евгения потрясены ширью Мирового Города и мощью нового человечества, проложившего улицы через океан, овладевшего стихиями, заменившего всюду себя машинами.

— Каким образом создается этот идеальный порядок?—шевелится в уме Викентьева.—Кто управляет Мировым Городом?

— Никто,—доносится ответ Стерна.—Правительство не нужно там, где нет классов и нет мотивов для принуждения. Каждый гражданин Мирового Города живет так, как хочет. Но каждый хочет того, чего хотят все.

Викентьев и Евгения не могут понять согласованности интересов и влечения всех граждан Мирового Города при полной свободе воли каждого из них.

Стерна несколько не удивляет их непонятливость. Он терпеливо объясняет им:

— Вас отделяет от нас двести лет. Вам трудно понять нашу коммунистическую психику. Вы—дети классового общества. Вспомните, что было в ваше время. Борьба людей с людьми затмевала общие интересы человечества и обостряла классовые, групповые, личные интересы. Человек жил в обществе волков, и сам был волком. То, что было выгодно одному, шло в разрез с выгодами других. У нас нет ни классов, ни групп, ни конкуренции. Мы спаяны общностью. Мы—одна коммунистическая семья. Наша спайка состоит в стремлении полностью овладеть силами природы...

— Но бывают же в вашем, коммунистическом обществе преступные элементы: воры, убийцы,—возражает Викентьев.—Бывают эгоистические натуры, лентяи, сластолюбцы...

Стери улыбается и качает головою:

— Как вы далеки от нашей эпохи! У нас нет собственности. Каждый гражданин имеет все, чего он хочет. Для преступления нужны мотивы, причины. У нас этих причин нет. Зачем я стану воровать, если я могу иметь все, что бы я ни захотел? А эгоизм, лень... Века бесклассовой,

коммунистической культуры вытравили эти пороки. Каждый из нас чувствует себя членом человеческой семьи. Если я буду себялюбив или ленив, то от этого будет ущерб обществу и вместе с ним мне. И потом, мы так мало работаем—но 2—3 часа в день! Мы всюду заменили физический труд машинами, и даже надзор за работой машины заменили саморегулирующими машинами. Организм каждого человека требует движения; и этой потребности вполне достаточно для той работы, которую должен выполнить каждый член нашего общества. Только больные люди не чувствуют этой потребности, и тогда мы их лечим...

Евгения недоверчиво глядит на Стерна и думает:

— Тут что-то не так. Ведь нужен же общественный аппарат, регулирующий отношения между людьми. Семья, например...

Она не доканчивает своей мысли; в ее ум врывается мысленный ответ Стерна:

— Семья у нас нет. Мы свободно сходимся и расходимся.

— А дети? Куда вы деваете детей?—горячо блестя глазами, спорит Евгений.

— Дети—достояние Мирового Города. Они воспитываются на Горных Террасах. Мы как раз летим туда. Вы увидите.

Евгения не удовлетворена и мысленно отвечает:

— Вы свободно сходитесь и расходитесь. Ну, а ревность.

Стерн не понимает:

— Ревность? Что это такое—ревность?

— Я люблю человека, мы принадлежим друг другу. Но он полюбил другую и уходит... А я не могу отказаться от него. Он—мой. Я не могу уступить его, я страдаю. Я ненавижу ту, которая отняла его у меня, и способна на преступление. Вот, что такое ревность.

Эта горячая тирада поражает Стерна. С широко раскрытыми глазами он смотрит на Евгению, потом на Викентьева.

— Ведь это дико!—восклицает он вслух.—Он мой, она моя... Разве человек может быть моим, твоим? Это же унижает человека! Я не понимаю этого.

И вдруг Стерн вспоминает:

— Ах, да, да, да. Ваши писатели так много писали об этом диком чувстве. И это соответствовало вашему общественному строю. Человек мог кушать силу и мысль другого человека, и поэтому вам было свойственно собственническое чувство и в отношениях полов. Кажется, у вас даже любовь покупали. Не так ли?

— Покупали, все покупали,—подтверждает Викентьев.

— Нет, мы не знаем этого дикого чувства,—говорит Стерн.

Но вопрос о ревности тронул какую-то большую струну в душе Стерна. Он задумался, и его мысли долетают до Викентьева и Евгении:

— Няля... Я любил ее... Потом ушел с Майей... Няля все еще любила меня... Мой друг, Лесли свез ее в лечебницу эмоций ¹⁾, и Нялю вылечили.

— Вылечили!—воскликает Викентьев и Евгения.—У вас лечат от любви?

— В лечебнице эмоций лечат гипнотическим внушением. Няле внушали равнодушие ко мне, и она забыла меня.

И опять какие-то тяжелые воспоминания поднимаются в душе Стерна. Он снимает с себя чашечки идеографа и отъединяет себя от своих спутников.

Внизу, под кораблем, огни становятся гуще, сливаются в сверкающие потоки. Корабль лежит над тем краем Европы, где были когда-то Лондон и Париж, отделенные Ла-Маншем и провинциями Франции. Теперь через Ла-Манш, Лондон и Париж протянулись друг другу улицы и слились в один район гигантского Мирового Города. Корабль ускоряет свой бег, приближаясь к области Горных Террас.

Горные Террасы расположены в Швейцарских Альпах, в Пиренеях и Аппенинах. Они тянутся также в Азии, в лучших местах Гималаев, и в наиболее здоровой части Памира. Здесь, в яслях, в детских колониях и площадках, в детских дворцах, сосредоточено все детское и юношеское население Мирового Города.

Воздушный корабль снизился и пристал к террасе; охватывающей, как гигантская полка, снеговую вершину Юнгфрау ²⁾. Из густого иглисто-го леса альпийских сосен, посаженных по террасе, подымается к небу огромный стеклянный купол Детского Дворца. Аллея с яркой каймой цветов, с желтой, посыпанной песком, ровной дорожкой, ведет к Детскому Дворцу. Перед дворцом—широкая круглая площадка, в центре которой звенит, играя струями в лучах солнца, фонтан с мраморным водоемом.

Звон детского смеха. Несколько сот детей, мальчиков и девочек, совершенно голые, с бронзовым от загара телом, занимаются гимнастикой на площадке. Здоровые, красивые, стройные тельца упруго и ловко делают под бодрую музыку ритмические движения. Острые глазенки следят за руководителем, тоже голым, с кофейным телом, красиво сложенным человеком. С палочкой в руках он стоит на возвышении, видимый всем детям, и проделывает те же упражнения, пересылая свои движения веселыми остротами и шутками.

¹⁾ Эмоция—чувствование, настроение.

²⁾ Юнгфрау—вершина Бернских Альп в Швейцарии, около 4-верст вышины.

— Смейтесь, друзья!—кричит он.—Смех развивает легкие и хорошо действует на нервную систему. Бодрость! Радость! Раз—два!

Часть детей, окончивших упражнения, плещется в холодном водоеме и, вытерев насухо тело, растирает его до-красна под наблюдением другого руководителя.

— В Мировом Городе придают исключительное значение физическому развитию—говорит Стери.—Тело юного гражданина Мирового Города должно быть красиво, гармонически развито, здорово.

— А что вы делаете с большими детьми?—спрашивает Евгения.

— Мы помещаем их в детские санатории в самых здоровых местах Горных Террас. А безнадежно-больных—идиотов, физических уродов—мы умерщвляем в младенчестве безболезненным способом.

Викентьев и Евгения не могут оторвать глаз от детского цветника, но Стери торопит их. Они входят во Дворец. Он весь из стекла. Яркие, радостные, полные света и цветов, комнаты, сверкающие чистотой, душистые от ароматов.

Первая комната—приемник. Врачи в белом взвешивают и выслушивают только что прибывших младенцев. Их ассистенты—подростки, воспитанники Горных Террас. Врачи дают короткие объяснения своим молодым помощникам и ученикам.

— Слабая грудь! В Давос ¹⁾,—отмечает врач одного хилого младенца.

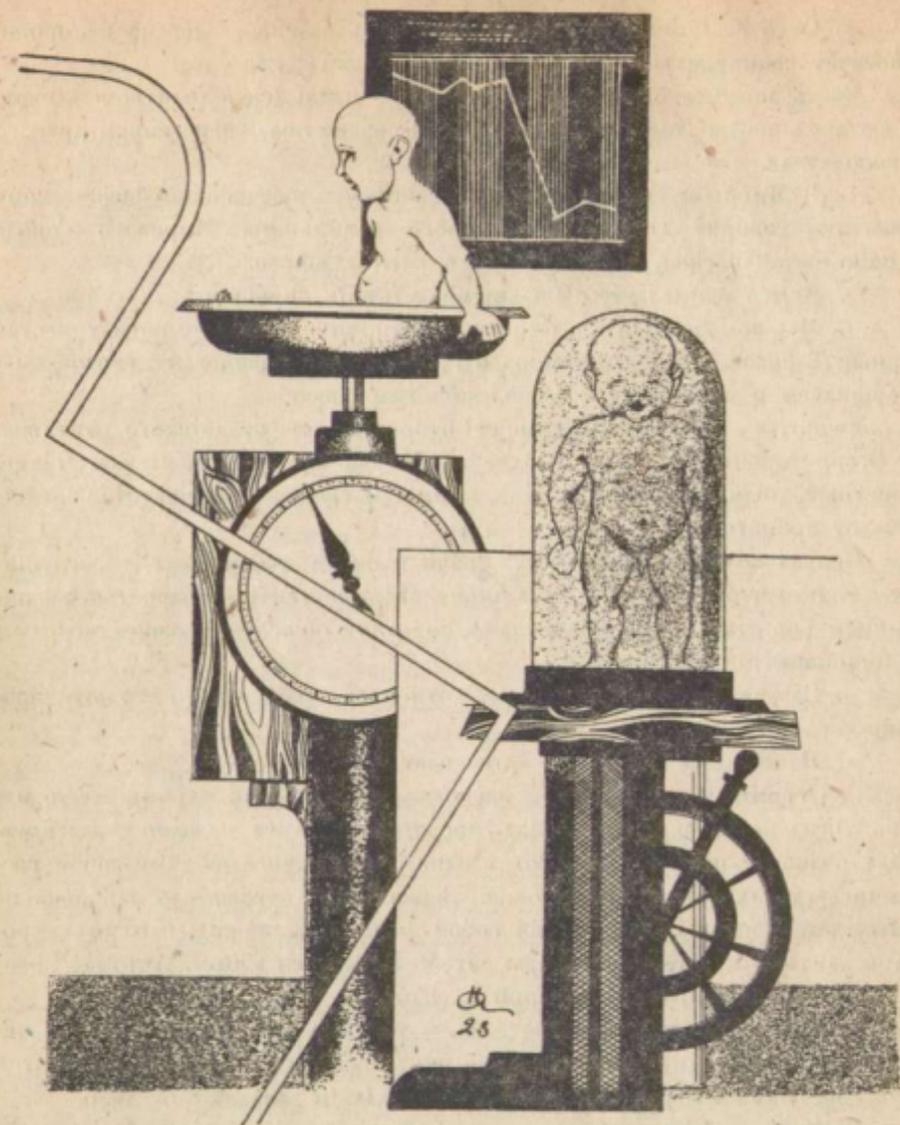
— На Южные Террасы! — отмечает врач другого.

... Огромный зал с мягким ласковым светом. Тихо журчит где-то музыка. Ряды белых кроваток. Над кроватками, перед глазами младенцев, висят разноцветные шарики. Вот у одного ряда кроваток сами собой раскрылись стеклянные створки окна. Зеркальный отражатель направил на голых детей поток солнца. Сами собой поднялись из-под изголовья кроваток зонтики и затенили головы детей. Несколько минут. Автомат поворачивает ребенка другой стороной к солнцу.

— С первых дней младенчества, — рассказывает Стери, — мы развиваем у детей слух и зрение. Музыка и эти цветные шарики служат этой цели. Воздушные солнечные ванны укрепляют и закаляют их тело.

Наверху, под куполом, круглое фойе, залитое солнцем. Из откинутых створок окна видна подернутая синей дымкой даль. Сверкают алмазами короны гор. Крапинки изумрудных лесов. Лазурные пятна озер. И солнце! Солнце!

¹⁾ Давос—горная местность в Швейцарии с исключительно здоровым климатом для легочных больных.



Дети сидят и набрасывают на полотно сочные мазки красок. Они умело передают игру света и теней, переливы, оттенки цветов, и кажется, что все эти дети талантливы. И та же мысль об одаренности детей Мирового Города приходит в голову Викентьева и Евгении, когда они заглядывают в музыкальную студию, где дети разыгрывают свои музыкальные

сочинения, в студию словесности, где малыши читают свои стихи, яркие, звонкие, образные.

— Какие гениальные дети! — любят ими Викентьев и Евгения.

— Гениальные? — усмехается Стери.

— Все люди талантливы, если их умело воспитать. В наше время нет бездарных людей. Мы подчинили себе природу человеческого ума и духа и направляем ее по своей воле. Путем воспитания физической и умственной культуры, мы создаем талантливых поэтов, художников, музыкантов.

Открывается широкий люк в куполе; в люке видны светлые борта воздушного корабля. Спущен трап. Светлая цепь детей поднимается по трапу на корабль.

— Куда вы летите, дети? — улыбаясь им, спрашивает по идеографу Евгения.

— На север, на юг, по всему миру, — несется ответ. — Мы летим учиться у морей, у гор, у ледников, в глубинах океана...

— В глубинах океана? — переспрашивает Евгения.

— Да, да! Мы спустимся на дно океана в подводных кораблях.

— Мы будем учиться на заводах и фабриках Мирового Города.

— Где же все-таки, ваша школа? — спрашивает Викентьев.

— Тут, там, везде, на всем земном шаре, — доносятся бойкие ответы.

Стери сияет радостью и гордостью.

— У нас нет школьных скамеек и душных аудиторий, как в ваше время, — говорит он. — Наше юношество и наши дети учатся на свободе, изучая геологию в недрах земли, ботанику — в лесах и полях наших террас, физику — в природе... У нас почти нет книг. Юное поколение рыщет по всему земному шару и добывает своей пытливостью и трудом знания. Руководители им ставят задачи, и дети сами разрешают их.

Одна группа молодежи, взбирающаяся по трапу, сообщает:

— Нам поставлена задача исследовать морскую растительность и животный мир.

Другая группа говорит:

— Мы должны произвести исследования на том месте Мирового Города, где находился Рим, и подготовить материалы для докладов по древней истории.

— А мы изучим жизнь одноклеточных животных в Тихом океане и привезем доклад по биологии...

На грусах поднимают на корабль огромный телескоп. На учебном воздушном корабле устроена башня-обсерватория, химические лаборатории, радио-идеограф.

Трап убран. Корабль мягко фыркает поршнями и взвивается в высь. Гирияды юных голов у перил палубы. Звонят голоса. Машут руки. Корабль делает поворот и скрывается за голубой ледяной шапкой Юнгфрау.

II.

Великий изобретатель.

— Это я, Лесли! Вы расположены говорить со мной, Евгения Моран?

Над радио-идеографом, на стене каюты Евгении, вспыхивает белая искра, разрастается в светлый прямоугольник, и в прямоугольнике света— сильная фигура Лесли.

У Евгении от чего-то взволнованно стучит сердце и приливает кровь к лицу. Она много думала о Лесли, хотела его видеть... Но как же Викентьев? Лесли и Викентьев — кто ей дороже?

У Лесли лицо светлеет. Он читает по идеографу то, что творится в душе Евгении.

— Да, да, я много думала о вас. Я не знаю... Я не понимаю, что творится во мне, Лесли. Викентьев... Вы...

На экране Евгения видит: призрачное отражение себя и четкое отражение Лесли. Он хватает руки ее призрака, целует их, целует ее лицо. Это радио-идеограф отражает мысли Лесли.

На острове Ява, у себя в кабинете, Лесли видит на экране две призрачные фигуры — свою и Викентьева. А между ними четкую фигуру Евгении. Она мечется между ним и Викентьевым. Это мысли Евгении.

— Вы любите меня, Евгения Моран, а с Викентьевым вы связаны общностью эпохи. Вы любите меня, меня... Но подумайте над собою. Вы еще не решили вопроса, не определили своего чувства. Я буду ждать, Евгения Моран...

Фигура Лесли исчезает. Светлый прямоугольник гаснет, но через несколько минут он опять вспыхивает и с экрана снова глядят энергичные глаза Лесли:

— Извините! Я забыл предупредить вас. Через час произойдет что-то... Я не могу сказать... Не пугайтесь.

И сразу погасло изображение Лесли, который быстро сбросил чашечки идеографа, чтобы Евгения не прочла его тайны.



Евгения прижимает руки к сердцу: как оно бьется. Отчего он так скоро исчез.

Вдруг луна начала падать на землю. Или земля на луну. Только что она была серебряной чечевицей на синем небе и вдруг начала расти. В четверть часа ее диаметр вырос до сажени... И еще: все небо заволочлось густой дымчатой пеленой, закрывшей звезды, и только луна вырезывается из этой пелены и растет, растет...

Десятки обсерваторий Мирового Города тревожно перекликаются по радио-идеографу:

- Что это? Что это? — Мировая катастрофа?
- Нарушены законы тяготения! Конец земле!
- Сейчас начнутся страшные циклоны!
- Наблюдайте за магнитной стрелкой! Будет магнитная буря!

Мир погибнет прежде, чем земля столкнется с луною, от взрыва земной атмосферы!

Все жители восточного полушария, где наблюдалось это явление, высыпали на террасы Мирового Города и с немим ужасом глядели на небо.

Ни звезд, ни синевы. От горизонта до горизонта коричневато-дымчатая пелена, и на ней огромное лицо луны. Она закрыла уже четверть небесного свода. Вот ее горы и кратеры, резко-черные с теневой стороны, ослепительно белые—с солнечной. Мрачные, мертвые пропасти. Белые пески.

Обсерватории перекликаются:

— В земной атмосфере нет изменений!

— Магнит — в покое!

— Циклонов нет!

— Наука обанкротилась! Мы ничего не знаем! — твердит по радио один растерявшийся ученый.

— Нет! Нет! Наука не жлет! Лгут ваши глаза, наши приборы! — отвечают другие.

Полнеба охватило лицо луны. Ясно видны трещины на склонах гор, морщины лунной коры заполнены чем-то белым. Снег?

Еще четверть часа. Весь небесный свод от края до края накрыт вогнутой чашей луны. Камни, скалы, острые зубы сбиты в мертвые кучи. На солнечной стороне какое-то неувимое движение. Что это — жизнь?

Из одного конца Мирового Города в другой идеограф мчит прощальные призывы:

— Элла! прощай! Мы все умрем!

— Прощай!

— Мне страшно. Я не хочу умирать!

— Мужайтесь, граждане!

Воздушный корабль спускается. Стери бледный, но спокойный, работает в капитанской будке. Викентьев застыл в ужасе. Вдвинувшись в перила палубы, он вскинул вверх голову и глядит расширенными глазами на страшный, холодный, мертвый ландшафт луны, не слушая и не понимая Евгении, которая твердит:

— Успокойтесь! Это ничего! Я знаю, что это ничего...

И сразу, точно чья-то мощная рука сорвала с неба огромный диск луны, закрывший его. Опять луна висит маленьким серебряным кружечком в высокой синеве, опять горят пушистые звезды.

И, отчеканиваясь золотыми письменами на небе, сообщает всему миру световая радио-телеграмма:

Я, изобретатель Лесли, демонстрировал себе новое изобретение—кино-телескоп. Он состоит из телескопа и усовершенствованного мною кино-аппарата. Телескоп отбрасывает отражение в объектив кино-аппарата, увеличивающего изображение в 20 миллионов раз.

Мощный рефлектор покрывает небесный свод тeneвым экраном, а кино-аппарат отбрасывает на этот экран изображение. Отныне астрономические наблюдения возможны не только в обсерваториях, но и простым невооруженным глазом и, кроме того, астрономические явления становятся зрелищем масс.

— Лесли, это вы?

— Да, это я, Евгения. Как я рад.

— Но почему я не вижу вашего изображения на экране?

— Я раз'единил световой провод. Я не хочу, чтобы вы видели мое лицо.

— Почему? Впрочем вы не можете скрыть своих чувств. Я ощущаю по идеографу: вы расстроены?

— Да, Евгения. Я сержусь на самого себя. Я выкинул непростительную мальчишескую выходку с этим опытом.

— Зачем же вы это сделали? Вы привели Мировой Город в страшное смятение.

— Я не ожидал такого переполоха, Евгения.. Но все равно, это непростительно!

— Покажитесь же Лесли. Я хочу вас видеть.

— На экране расстроенное лицо Лесли. Но уже начинает светлеть. Глаза теплеют нежностью.

— Евгения! Евгения! — вторит он.

— Слушайте, Лесли, вас не привлекут за это к суду?

— К суду? Что это такое? Ах, да! У нас нет этого. Мы сами себя судим.

— Но власти... Они не наложат на вас наказания? Все возмущены вашей выходкой.

— Какие наказания! Гражданина Мирового Города никто не может наказывать. И властей у нас никаких нет.

— Ну, не власти, а те, кто регулирует распределение и труд. Они вам ничего не сделают?

— Высшее учетное бюро? Это совсем не их дело. Их выбирают для учета, регистрации и распределения. Единственная власть — это мы все вместе, все граждане Мировой Коммуны. Кроме того, я уже сам достаточно сознаю свою вину и сообщил о своем раскаянии световой идеограммой. Ну, бросим это.

— А я беспокоилась за вас.

— А я не перестаю думать о вас. Я хотел бы видеть вас не на экране, а близко.

— И я вас... То есть не-то...

— Нет, именно то. Я читаю ваши мысли. Завтра я буду у вас на корабле.

— Лесли. Я не знаю... Я теряюсь...

Ей стыдно своих мыслей и она раз'единяет идеограф.

III.

Мозг Мирowego Города.

Когда-то над Парижем высилось кружевное легкое плетение—Эйфелева башня. Теперь она затерялась среди террас и вышек дворцов, возившихся в небо.

После посещения швейцарских террас, Стери повернул корабль назад, направляясь к Парижскому Сектору Мировой Коммуны. И вот сейчас Стери в капитанской будке нажимает клавишу на спуск. Переборки верхних воздушных камер захлопываются, нагнетательные наносы накачивают воздух в верхние камеры, из верхних клапанов вырываются струи сжатого газа и толчками снижают корабль.

Густая паутина проводов изрезывает небо над Парижским Сектором. Корабль лавирует: скользит, ныряет, изворачивается. Стери бегаёт пальцами по клавиатуре, как опытный пианист, и нажимает клавиши—направо, налево, крутой поворот, скачек вверх, прыжок вниз, стоп!

Все провода тянутся к огромному дворцу в центре Парижского Сектора. Ближе к дворцу они так густы, что покрывают небо частой сетчаткой. Корабль вынырнул из паутины проводов и плывет над этой сеткой среди роя других кораблей, больших, с сотнями пассажиров, и маленьких—двух или трехместных воздушных шлюпок и яхт.

Вокруг башни дворца лепятся четыре яруса балконов. К этим балконам причаливают воздушные суда. Эта воздушная гавань полна сотнями кораблей. Они пристают друг к другу и перекидывают трапы на палубы средних кораблей. На куполе башни горят шесть букв:

«В. С. Б. Ф. М. К.»

Эти буквы означают:

«Высшее Статистическое Бюро Федерации Мировой Коммуны».

Викентьев, Евгения и Стери переходят с трапа на трап, повисшие над пропастью, в сотню метров глубины. На дне этой пропасти—круглая площадь, вымощенная плитами шапье-маше, стиснутая стенами домов, накрытая сеткой проводов.

У входа в башню их ждет лифт. Они скользят вниз, по люку лифта. Отзванивают этажи, мелькают белые круглые корридоры с десятками дверей, с сотнями спущенных по ним людей.

Лифт останавливается. В дверях светлой, залитой солнцем комнаты, их встречает высокий плотный, мощно сложенный человек, с выпуклым лбом мыслителя, в одежде из светлой ткани. Его ясные серые глаза с любопытством останавливаются на Викентьеве и Евгении.

Стери произносит несколько слов. Старик весело кивает головою и надевает чашечки идеографа.

— Я—Мак Тодд, председатель Высшего Бюро,—сообщает он.

Так вот он, глава Мировой Коммуны. Глаза Викентьева и Евгении впадают в Мака Тодда. Значит у них все же есть правительство. Этот старик, Мак Тодд, президент Мирового Города.

Но Мак Тодд энергично возражает:

— У меня нет никакой власти. Я избран на трехмесячный срок, объединяю работу Высшего Статистического Бюро, которое ведает учетом и распределением, но которое не обладает никакими правительственными полномочиями.

В кабинете Мака Тодда несколько аппаратов идеографа. Они ежеминутно вызывают его, и он, прерывая беседу, отвечает на вызовы.

— Очевидно, вам неясна общественная организация Мировой Коммуны,—говорит он Викентьеву и Евгении и, присоединив их при помощи проводов к аппаратам своего кабинета, добавляет:

— Слушайте, и вы поймете.

— Нью-Йоркский Сектор сообщает, что у него имеется 70 миллионов киллоуатт часов электро-энергии сверх потребного ему количества,—доносится по идеографу.

— ...В Римском Секторе достигло трудовой зрелости 250 тысяч граждан, из которых 100 тысяч превзошли потребности Сектора в силовых единицах.

— ...В Венском Секторе родилось за неделю 4.020 детей. Половой состав будет сообщен дополнительно.

— ...Вашингтонскому Сектору требуется 2.000 силовых единиц живой силы. Пришлите немедленно.

— Перебросьте в Московский Сектор 6 миллионов тонн дураллюминия.

Мак Тодд весело глядит на своих собеседников своими ясными глазами: разве теперь им непонятно, что деятельность Высшего Бюро состоит в учете сил, богатств и работы Мировой Коммуны и в их распределении? Никакой власти, никакой принудительной силы, только учет, точный учет.

В каждом Секторе Мирowego Города—учетное бюро. Сто Секторов в Мировом Городе—сто учетных станций. Каждый Сектор делится на районы с районными станциями учета. Каждый район делится на кварталы. Квартальные учетные станции связаны с домовыми подстанциями, стоящими во главе каждого дома Мирowego Города. Сеть статистических станций—вот вся общественная организация Мирowego Города.

— Но тогда у вас целая армия чиновников,—возражает Викентьев. Мак Тод отрицательно качает головою:

— Ни одного чиновника! Все взрослые граждане поголовно участвуют в работе станций. Самый долгий срок полномочий—три месяца, самый краткий—несколько часов. Пятерка домовой подстанции обновляется ежедневно, квартальной—каждые трое суток, районной—еженедельно, в Секторе—ежемесячно и в Высшей Станции—каждые три месяца.

У Евгении все-таки есть довод против Мака Тодда. Блестя глазами, она возражает:

— Вы говорили, что у вас нет принуждения. Неправда, оно есть. Вы перебрасываете силовые единицы из Сектора в Сектор. А эти силовые единицы—живые люди. Что, если я не желаю быть силовой единицей?

Мак Тодд с удивлением смотрит на Евгению:

— Как вы можете не желать того, что вам полезно и доставляет нам наслаждение?

— Быть в распоряжении общественного механизма—это вы называете наслаждением?—возражает Евгения.

Стери вмешивается в разговор:

— Вы не понимаете нашей психики. Мы слитны. Высшее наслаждение и гордость каждого из нас—творчество. Мы стремимся, мы жаждем творчества, и каждый гражданин, как награды, ждет сообщения станции о том, что он там-то нужен, что там-то без него нельзя обойтись.

— Посмотрите в окно на площадь и вы увидите эти «силовые единицы»,—предлагает им Мак Тодд.

На широкой площади строятся колонны. Стройные прямолинейники людей. Во главе каждой колонны—знаменосец с алым знаменем. Знамена развернуты и полощутся в воздухе. Сверкают шитые золотом на полотнищах надписи:

— На электрические станции!—переводит по идеографу надпись на знамени Стери.

— Мы на транспортную службу!

— Мы к радио-экскаваторам! На рудники!

— Мы—на станции радио-идеографа!

Евгения хочет знать, что чувствуют эти колонны «силовых единиц». Она все еще не верит, что в Мировом Городе нет принуждения.

— Это можно,—соглашается Мак Тодд и переводит провод идеографа на радио-связь по воздуху.

И Евгения слушает прибор чужих мыслей и настроений. В этом хаосе тысяч мыслей и чувствований трудно разобраться, но все они сливаются в один радостный порыв:

— Скорее! Скорее! Скорее за дело!

Врачи осматривают прибывающие новые колонны и отделяют больных и слабых. Мак Тодд, лукаво усмехнувшись, переводит приемник идеографа по направлению к группе забракованных. Радостный прибор сменяется унылыми жалобами:

— Гражданин! Я достаточно здоров, чтобы работать.

— Вы ошиблись! У меня вовсе не больные легкие. Я не хочу в Давос. Я хочу в шахты.

— Вот уже два года, как я—обуза на плечах сограждан. Не бракуйте меня.

Мак Тодд насмешливо говорит Евгении:

— Видите, вы были отчасти правы, когда утверждали, что у нас есть принуждение. Да, оно существует. Вот эти больные упорно хотят быть «силовыми единицами»,—а мы их принуждаем не работать.

Шеренга за шеренгой поднимается на лифтах на воздушную пристань и занимает свои места на кораблях. Воздушные корабли с развевающимися флагами отчаливают, и, звеня песнями, «силовые единицы» разлетаются по Секторам Мировой Коммуны.

Зал с верхним светом. Вокруг него расходящимися кругами—комнаты. Из комнат лучами тянутся к залу трубы пневматической ¹⁾ почты.

Под куполами центрального зала путаница проводов идеографа. Десятки идеографов принимают идеограммы со всех концов Мировой Коммуны. Другие ряды идеографов рассылают идеограммы в разные Секторы.

Стрекохот счетные машины. Из машин выбегают длинные бумажные ленты с отпечатанными цифрами. Автоматические ножи разрывают ленты на карточки. Автоматы-лапы подхватывают пачки карточек и перебрасывают их в приемники пневматической почты. По пневматическим трубам баулы с карточками бегут на тележках в свои отделения—комнаты.

¹⁾ Пневматическая почта пересылает корреспонденцию напором сжатого воздуха по трубам.

Да, в свои отделения, потому что каждая комната имеет свое назначение. В одной расположены в подвижных замурованных ящичках карточки с итогами числа рождений и смертей во всех Секторах. У каждого Сектора свой шкаф с ящичками его районов, кварталов, домов. В другой комнате—карточки с цифровыми данными о количестве «силовых единиц»; в третьей—данные о выработке и роде продуктов, вырабатываемых Секторами Мирowego Города.

Стрекожут счетные машины. Несколько десятков человек суетятся в центральном зале у счетных машин, у идеографов, у пневматической почты. Несколько десятков человек работают в отделениях над регистрацией.

— Это главный нерв Мирowego Города,—сообщает Стери.—Отсюда ответвляются нервы по всем станциям и подстанциям земного шара.

Утомленные, выходят они из счетного отделения, поднимаются на лифте на пристань и идут по трапам к своему кораблю. Корабль отчаливает. Стери нажимает клавишу на подъем, и он взвизгивает к небу.

Навстречу кораблю плывет маленькая воздушная яхта. Она причаливает к нему. Высокий, крепко сложенный человек с острыми глазами перекидывает с борта яхты на борт корабля мостик, привычивает его к палубе и переходит на корабль.

— Лессли!—восклицает Стери в своей капитанской будке.

— Лессли!—шепчет Евгения, увидев его из каюты, и опускает вдруг вспыхнувшее лицо.

— Слушайте, Евгения Моран. Два дня я здесь на корабле, и вы еще ничего не решили. Я улечу один.

— Нет, нет, подождите. Лессли!

— Тогда улетим вместе.

— Я еще не могу... Нет, нет!

Они сидят на корме яхты Лессли. Утренняя заря льет теплую алоость и окрашивает розоватою лазурью борта обоих судов, плывущих рядом. Внизу, в утренней опаловой дымке расстилается Японский Сектор Мирowego Города.

— Вы любите Викентьева?

— Нет... Но я как-то связана с ним. Я вас люблю, Лессли.

— Так что же удерживает вас?

— Не знаю...

— Решимости больше! Решимости!

Рубином и перламутром играют облака на востоке. Высоко в розовеющем небе плывут золотые пушинки.

— Ваши женщины энергичны и самостоятельны, Лессли.

— Да. Но в вас больше мягкости.

— Из-за этой мягкости у меня не хватает силы оставить Викентьева одного. Куда вы идете, Лессли?

Лессли встает и направляется к борту яхты. Вырвавшийся из огненных облаков багровый шар солнца, заткал золотом его мощную фигуру.

— Я хочу отчалить.

— А я?

— Вы полетите со мною.

— Лессли, погодите... Я не знаю...

— Тогда я отчаю один.

— Нет! Нет!

Лессли отвинчивает мостик. Евгения закрыла лицо руками, но не протестует. Они уходят в будку. Нажим клавишей. Яхта отделяется от воздушного корабля и взвивается вверх.

Викентьев бежит из каюты. Протягивает руки к яхте. Кричит:

— Евгения! Евгения!

Яхта круто поворачивает и, сверкая бортами, сливается с сияющими потоками солнечных лучей.

Викентьев перегнулся через борт. Стери отрывает его от борта и ведет в каюту:

— Не надо, мой друг, не надо—успокаивает он Викентьева.

Идеограф звонит:

— Викентьев, голубчик! Не огорчайтесь! Так надо! Я люблю Лессли.

Ночью Стери находит Викентьева на полу каюты, с закрытыми глазами.

— Я один... Как в пустыне...

Корабль снизился и причалил к террасе. Стери берет под руку Викентьева и спускается с ним в его комнату.

— Уходите, я хочу быть один,—просит Викентьев Стерна.

Стери грустно качает головою и уходит.

В той комнате жила Евгения. Теперь ее нет. Он один, совсем один, в этом великом, но чужом Мировом Городе. Викентьев бродит по комнатам, опустив голову, подходит к радио-идеографу!

— Ява! Остров Ява!—вызывает он.

— Соедините с Лессли... Это я, Викентьев. Я хочу говорить с Евгенией.

Лицо Евгении. Ее волосы цвета сумерек. Лицо грустно, но глаза горят счастьем.

— Викентьев, мне вас так жаль!

Но Викентьев, против ее желания, читает ее мысли:

— Мне так хорошо! Я так счастлива! Жизнь моя полна! Лесли! Лесли!

Викентьев раз'единяет идеограф и выходит из комнаты. Лифт спускает его вниз, на улицу. Он идет, сам не зная куда, по светящимся улицам Мирового Города. Тротуары почти пусты. Граждане Мирового Города—на террасах. В серебристо-голубом сиянии мчатся по мостовым радиомобили.

Надломленный, без мыслей в голове, Викентьев бродит по улицам, пересекает широкие площади, поднимается на горбы мостов, спускается в туннели. У него подкашиваются ноги от усталости, но он не останавливается.

Какой-то длинный бесконечный мост. Бруклинский мост. Викентьев шатаясь бродит по мосту. За ним увязалась собака, которая не отстает от него, и, когда он останавливается, она поднимает морду, виляет хвостом и тихо скулит. Он ежеминутно оглядывается—не отстала ли собака, и бонся, что она уйдет от него.

Золотые пряди зари раскинулись на восточном склоне неба. Викентьев прислонился спиною к стене огромного дома. Собака сидит у его ног и, подняв к нему морду, тихо скулит.

— Собака, ты тоже одинока? Ты потеряла своих?

Не сознавая сам, для чего он это делает, Викентьев прикрепляет к голове собаки чашечки карманного идеографа, которым снабжен каждый гражданин Мирового Города.

Странное ощущение. Тоска по запаху, по острому запаху. Этот запах шел от человека с громким голосом. Где этот человек? Где хозяин?

Собака потеряла своего хозяина и тоскует. Викентьев потерял близкого человека. Собака и человек одинаково одиноки в этом всемирном муравейнике. Идем дальше, собака. Куда? Не все ли равно?

— Гражданин! Гражданин!

Кто-то трясет Викентьева за плечи. Он сидит на ступени высокого дома, опустил голову на руки и спит.

— Гражданин! Гражданин! Вы больны?

Викентьев раскрывает усталые веки и поднимает голову. Человек в светлом плаще положил свои руки на его плечи и говорит что-то.

— Где собака? Где собака? Она ушла?

Человек не понимает Викентьева и соединяется с ним идеографом.

— Собака? Вы потеряли собаку, гражданин?

— Да собаку... Нет! Я потерял любимого человека, женщину, Евгению. Лесли ее отнял у меня.

— Отнял? Разве она вещь? Вы странно мыслите, гражданин!

Человек в светлом плаще с удивлением рассматривает Викентьева.

— Человеком невозможно владеть. Человека нельзя отнять. Он не предмет,—внушает человек в плаще.

— Она ушла от меня. Я ее люблю.

— О, теперь я понимаю вас, гражданин! Но это ее право. Тут ничего не поделаешь. Впрочем, если вам очень трудно, пойдемте.

Человек в плаще помогает Викентьеву встать. Викентьев не может стоять. У него подгибаются колени.

— Да вы совсем больны!—воскликает человек в плаще.—Погодите минуточку.

Он опять усаживает Викентьева на ступень, подходит к киоску идеографической станции и вызывает радиомобиль.

Усаживая Викентьева в радиомобиль, человек в плаще говорит:

— Я знаю, куда вас вести, чтобы вылечить. Через несколько часов вы будете совершенно здоровы.

— Сядьте в это кресло. Сидите спокойно и старайтесь не думать ни о чем. Смотрите на этот блестящий отражатель. Сосредоточьте на нем все свое внимание.

Маленький юркий человек, в белом халате, врач лечебницы эмоций, глядит своими пронзительными черными глазами в глаза Викентьеву и гладит его по голове, по лицу, по плечам. У врача повелительный резкий голос, и хотя Викентьев не понимает того, что он говорит, но чувствует себя во власти какой-то силы.

Врач соединяет себя с Викентьевым идеографом.

— Вы хотите уснуть! — повелительно диктует он Викентьеву. — Вы закрываете глаза! Вы дремлете!

Да, Викентьев хочет спать. Кресло плывет под ним. Еще несколько минут, и он почти теряет сознание. Но это не сон, а полудремота. Он ощущает присутствие врача и его силу.

— Евгения Моран; — произносит врач с чужим акцентом.

Веки Викентьева вздрагивают.

— Евгения Моран, — повторяет врач. — Она далекая. Чужая! Слышите? Нет тоски по ней. Слышите?

Странно, почему он тосковал по Евгении, дочери профессора Морана. Викентьев безвольно соглашается с врачом. Она далекая, чужая...

Он совсем теряет сознание. Врач осторожно выходит из кабинета и возвращается с помощником. Оба они переносят Викентьева на кушетку. Шупают его тело: оно в каталепсическом состоянии.

— Теперь вы просыпаетесь, — приказывает врач. — Вы больше не больны тоской по Евгении Моран.

Викентьев просыпается. Садится на кушетке. Он устал, разбит; но нет тоски и чувства потерянности.

— Где вы живете, гражданин?

Викентьев не может назвать того дома, в котором он живет. Он бормочет:

— Стери... Я живу там, где Стери.

— У нас очень много граждан с таким именем. Покажите-ка ваш идеограф.

На чашечках идеографа — номер. Врач вызывает станцию.

— Вы живете на улице Ленина, в доме № 107. Я вызываю радиомобиль. Он отвезет вас домой. В течение недели вы будете приезжать ко мне.

Через четверть часа Викентьев мчится по улицам Нью-Йоркского Сектора. В Мировом Городе он больше не чувствует себя одиноким и затерянным.

Воздушный корабль летит на восток. Викентьев с озаренным лицом — на носу корабля в устремлении вперед.

— Это я, Викентьев, желает ли говорить со мной Евгения Моран?

— Что за вопрос, Викентьев?

На экране вспыхивает фигура Евгении. Викентьев спокойно смотрит на экран. Она ничего не тревожит в его душе.

— Откуда, вы говорите, Викентьев?

— С воздушного корабля. Я отправляюсь в Уральский Сектор на работу.

— Это хорошо, Викентьев.

— Да, хорошо. Я гражданин Мировой Коммуны. Прошлое умерло.

— Прошлое умерло, Викентьев.

— Да, прошлое умерло. Викентьев и Евгения Моран, ожившие через двести лет в новом мире, приобщились полностью к человеческой семье Великой Мировой Коммуны.

Несколько слов к читателю.

Всякая утопия намечает этапы и вехи будущего. Однако, утопист — не прорицатель. Он строит свои предположения и надежды не на голую, оторванную от жизни, выдумке. Он развивает воображаемое будущее из настоящего, из тех сил науки и форм человеческой борьбы, которые находятся в своей зачаточной форме в настоящее время.

Возможно, что многие читатели, прочитав этот роман, сочтут все то, что в нем изображено, за несбыточную мечту, за досужую выдумку писателя.

Но автор вынужден сознаться в том, что он почти ничего не выдумал, а самым старательным образом обобрал современную науку, технику и — самое главное — жизнь.

Здесь изображается будущий коммунистический строй, совершенно свободное общество, в котором нет не только насилия класса над классом и государства над личностью, но и нет никакой принудительной силы, так что человеческая личность совершенно свободна, но в то же время воля и желания каждого человека согласуются с интересами всего человеческого коллектива. Выдумка ли это? Нет. Вдумайтесь в то, что началось в России с 25 октября 1917 года, всмотритесь в то, что происходит во всем мире. Девять десятых человечества — трудящиеся — борются за идеал того строя, который изображен в этом романе, против кучки паразитов, противодействующей осуществлению абсолютной человеческой свободы. В умах и сердцах теперешнего пролетариата грядущий мир уже созрел.

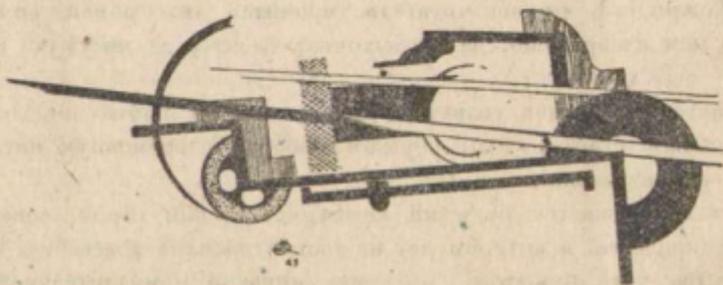
Все чудеса техники грядущего мира имеются уже в зародыше в современной технике. Радиус, огромная движущая и световая энергия которого известна науке, заменит электрическую энергию, как электрическая

энергия заменила силу пара и ветра. Работы ученых над продлением человеческой жизни, над выработкой искусственной живой материи, над вопросом омоложения, над гипнозом, над психологическими вопросами — достигли за последние десятилетия крупных успехов. Современная наука делает чудеса и шагает семимильными шагами к победе над природой.

Все то, что изображено в этом романе, либо уже открыто и применяется на деле, либо на пути к открытию.

Поэтому, автор имеет даже основания опасаться, что он взял слишком большой срок для наступления царства грядущего мира и убежден, что через 200 лет действительность оставит далеко позади себя все то, что в романе покажется читателю выдумкой.

Як. Окунев.



1984



1984
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ ИГРЫ
ДЕТГИЗ

К

СКЛАДЫ ИЗДАНИЯ:

ПЕТРОГРАД:

- 1) Смольный, комн. 74.
- 2) Проспект 25-го Октября, 52—магазин „Книжные новинки“

МОСКВА:

- 1) Московское отделение издательства „Прибой“ — Петровские линии, подъезд № 3.
- 2) Издательство „Московский рабочий“ — Б. Дмитровка, 15.

ХАРЬКОВ—КИЕВ—ЕКАТЕРИНОСЛАВ:

Кооперативное издательство „Пролетарий“.